



Свет Мира. Ребёнок Тьмы

Александра Ушакова

Свет Мира .

Александра Ушакова

Свет Мира. Ребёнок Тьмы

«Автор»

2026

Ушакова А. А.

Свет Мира. Ребёнок Тьмы / А. А. Ушакова — «Автор»,
2026 — (Свет Мира .)

В мрачном подземелье Империи умирающая Аталар рождает сына с золотой кожей и чёрными глазами — сосуд древней Тьмы. Вальтера, Царица Ночи, забирает младенца, надеясь спасти мир, но оставляет его на пять лет у жестоких золотых драконов. Мальчик без имени выживает в аду, учась молчать и не верить никому. Когда Вальтера возвращается, чтобы забрать изувеченного ребёнка, он получает новую семью: императора Дарада, вампира Ктору, русалку Иглир, водного дракона Кайто и маленькую девочку Лилию, чьи тени слушаются её. Он обретает имя — Аринал, «пробивший камень», — и учится летать, верить и любить. Но Тьма не отступает: в Кха-Дронге воскресает Аталар, Захра — её точная копия — проникает во дворец, и древнее зло идёт войной на Империю. В эпической битве в Пади Шихаб Аринал делает свой первый выбор: не бояться.

© Ушакова А. А., 2026

© Автор, 2026

Содержание

КНИГА 1: РОЖДЁННЫЙ ВО ТЬМЕ	5
Глава 1: Логово Золотого Дракона	10
Глава 2: Тот, у кого нет имени	14
Глава 3: Решение Царицы Ночи	19
Глава 4: Ктора и названный гость	25
Глава 5: Исповедь Царицы Ночи	34
Глава 6: Невеста Запада	41
Конец ознакомительного фрагмента.	48

Александра Ушакова

Свет Мира. Ребёнок Тьмы

КНИГА 1: РОЖДЁННЫЙ ВО ТЬМЕ

Пролог: Тот, кто родился в ночь умирающей луны

Империя Дарада. Подземелья Старого дворца. Год 5138 от Основания. Одиннадцатая ночь Зимней Луны.

Камень здесь помнил всё.

Это был не просто базальт, не простая вулканическая порода, из которой сложены стены самых древних темниц Империи. Это был *памятник* — материя, пропитанная чужими страданиями настолько глубоко, что сама структура камня изменилась, превратившись в летопись боли. Каждое прикосновение, каждая упавшая капля пота, каждый сдавленный крик — всё это вьелось в кристаллическую решётку породы, застыло там, как насекомые в янтаре, и теперь ждало своего часа, чтобы вырваться наружу.

Вальтера, Царица Ночи, Правительница Империи Дарада, ступала по каменным плитам, и холод, поднимающийся из глубин, был ей не страшен. Этот холод был её ровесником — тысячелетия назад, когда мир был моложе и жестокосерднее, она вдыхала точно такой же воздух здесь, за Первыми Вратами, в месте, где солнце оставалось лишь бледной, почти забытой легендой. Но сейчас этот холод пробирал её иначе — он *лип* к вампирской коже, невосприимчивой к обычным перепадам температур, проникал сквозь неё, находил те щели в душе, которые она считала навеки заделанными.

Её плащ из чёрного шёлка, расшитый серебряными нитями в форме паутины (каждая нить — застывшая молитва, вытканая эльфийскими мастерицами, что ушли из мира тысячу лет назад), бесшумно скользил по каменному полу, оставляя за собой едва заметный след — след, который в этом месте не имел значения, ибо здесь никто не искал следов. Здесь искали ответы.

В каждой трещине пола, в каждой ложбинке меж плит, где скапливалась вековая пыль и затхлая вода, Вальтере чудились глаза. Не глаза надзирателей — те давно сгнили. Глаза тех, кто когда-то спускался сюда раньше и уже не вернулся. Они смотрели на неё из глубин камня, из глубин времени, из глубин собственной агонии, и их безмолвный вопрос звучал в тишине коридора как набат: *«Зачем ты здесь? Ты, живая среди мёртвых? Ты, свободная среди законных?»*

Она не отвечала. Она не должна была оправдываться перед тенями прошлого.

Восемнадцать лет.

Целая человеческая жизнь — мгновение для демоницы, но эти восемнадцать лет, проведённые в пыльных коридорах власти, среди политических интриг и компромиссов, растянулись для неё в бесконечную череду выборов. Каждый из них был подобен удару скальпеля: не смертелен, но оставляет шрамы. С каждым годом лестница, ведущая в Старые Темницы, казалась ей всё круче, воздух — всё тяжелее. Он пропах не просто сыростью и ржавчиной. В нём чувствовалось человеческое отчаяние — липкое, едкое, оно разъедало даже камень, превращая его в труху, которая скрипела под ногами, как пыль веков.

Стража у дверей — два молодых ящера из клана Серой Чешуи — при её появлении вытянулись так, что хрустнули позвонки. Их грубая, тусклая чешуя, некогда блестящая как

вычищенная кольчуга, сейчас была покрыта слоем серого налёта — не пыли, нет, пыль здесь была чёрной, — а чем-то другим, более зловещим. И в глазах, жёлтых с вертикальными зрачками, застыл не просто страх перед императрицей. Там был ужас перед тем, что они охраняли — перед самой дверью, за которой скрывалась тайна.

Они боялись не обычных узников — предателей, воров и неудачников. Таких здесь не держали. Они боялись того, что чувствовали за этой дверью уже много лет — той самой давящей, сладковатой пульсации силы, которая просачивалась сквозь вековые камни, как вода сквозь трещины в плотине. Сила была голодной. Она ждала. И она *знала*, что рано или поздно кто-то придёт, чтобы её освободить.

— Госпожа, — голос старшего, седого ящера, сорвался на шепот. Он говорил, не глядя на неё, уставившись в пол — в ту самую трещину, откуда, казалось, тянуло холодом сильнее всего. — Там... оно... не просто живёт. Оно ждёт. Оно всегда ждало. И сегодня... сегодня оно ... *зовёт*.

Вальтера не удостоила его ответом. Даже взгляда не бросила. Она подошла к массивной, кованой двери, покрытой рунами такой древности, что эльфы, наносившие их, давно превратились в прах, а их цивилизации рассыпались в песок истории. Эти знаки должны были делать заточение вечным. Символы Сдерживания, сотканые из чистой магии света, были вдавлены в почерневший металл серебром и золотом, создавая узор, который, по легендам, повторял строение мироздания. Каждая руна была выверена до долей дюйма, каждое пересечение линий — просчитано с точностью, доступной лишь высшим математикам древности.

Но сейчас их свечение было не ровным, золотым, как в былые времена, а мертвенным, зеленоватым — гнилостным. Тьма внутри пожирала их, как кислота оставляет шрамы на ткани реальности. Некоторые руны уже потускнели настолько, что едва угадывались под слоем вековой копоти; другие потрескались, и из трещин сочился тот самый сладковатый, тошнотворный запах — запах новой жизни, рождённой из ненависти.

Вальтера подняла руку. Её бледные пальцы с идеальным, острым маникюром (каждый ноготь отполирован так, что в нём можно было увидеть собственное отражение — искажённое, чужое) коснулись центральной руны — той, что изображала запертые врата. Магический замок щёлкнул не по её воле — он *сдался*, под натиском того, что зрело внутри за эти восемнадцать лет. Металл застонал, как живое существо, когда его плоть разрывают на части.

Дверь дрогнула и с глухим, боли сотрясающим стоном поползла внутрь.

Запахи хлынули наружу, ударив в лицо смесью вековой сырости, застарелой крови, прелой соломы и... чего-то другого. Сладковатого, тошнотворного, чужеродного. Запаха новой жизни, рождённой из ненависти. Запаха *чуда*, которое не должно было случиться.

Она шагнула внутрь.

Аталар была тенью себя.

Вальтера едва узнала в этом скрюченном, измождённом теле некогда прекраснейшую женщину Империи — ту самую «Золотую Мать», чьё имя теперь шептали с проклятием в самых тёмных углах, боясь произносить вслух даже спустя два десятилетия.

Двадцать лет заточения сделали своё дело. Иссечённая временем, высосанная до последней капли осколком Чёрного Рубина (того самого, что когда-то должен был открыть Врата и впустить Тьму в мир), она сидела на каменном ложе, и её тело казалось высохшим руслом реки, по которой когда-то текла золотая магия, а теперь осталась лишь серая, безжизненная пыль. Волосы, некогда тяжёлые, как расплавленный металл, струящиеся по плечам и сверкающие тысячами золотых искр, теперь висели грязными, свалывшимися колтунами, спутанными в колтуны, в которых запутались мёртвые насекомые и пыль веков.

Глаза — глубоко запавшие, окружённые чёрными кругами, такими тёмными, что казались выжженными, — горели лихорадочным, безумным огнём. В их глубине, за внешним безу-

мием, всё ещё теплилась искра узнавания — она *знала*, кто пришёл. Она ждала именно её. Никого другого.

Но самое страшное было в другом.

В руках, прижатый к впалой груди, там, где когда-то билось сердце (оно билось до сих пор, хотя и едва слышно, как последний удар погребального колокола), лежал комок.

Комок золотого, тёплого света.

Ребёнок.

Старая повитуха — древняя женщина с лицом, изборозждённым морщинами, как кора тысячелетнего дуба, — сидела в углу, поджав колени к подбородку, и беззвучно тряслась. Её глаза, выцветшие от времени до молочной белизны, были прикованы к младенцу, и в них, в этой белизне, отражался страх, который невозможно описать словами — первобытный, животный ужас существа, которое столкнулось с тем, что не должно существовать в этом мире. Она перестала молиться своим богам час назад, когда поняла, что боги, чьи имена помнили лишь древние эпохи, боятся отвечать. Боятся даже смотреть сюда.

Её руки, покрытые старческой пигментацией и набухшими венами, до сих пор дрожали, и в этих дрожащих пальцах она сжимала серебряный амулет — символ веры, которая не спасла её предков и не спасёт её. Амулет почернел и потрескался, как старый лёд.

— Ты пришла смотреть, — голос Аталар был похож на шорох осыпающейся штукатурки, на треск сухих костей под ногами неосторожного путника. — Смотреть. Не верить. Бояться.

Вальтера не ответила. Она не могла оторвать взгляда от младенца.

Его кожа не была бледной или розовой, как у обычных новорождённых. Она отливала тёплым, живым золотом — тем самым, что драконы ценят в сокровищницах выше жизни, а эльфы называют «кровью утра» и платят за неё целыми состояниями. И кожа не просто светила — она *впитывала* свет чадающего масляного светильника, единственный источник освещения в этой камере, перерабатывая его во что-то более древнее, более первозданное. По скулам и лбу уже угадывались крошечные, едва заметные чешуйки — ещё мягкие, как у новорождённого ящерёнка, но уже отливающие металлом, переливающиеся в тусклом свете как драгоценности. Они росли прямо на глазах — Вальтера видела, как они появляются из ниоткуда, проступают сквозь тонкую кожу, как первые листья сквозь весеннюю землю.

Глаза его были открыты.

Чёрные.

Абсолютно чёрные.

Без белков, без намека на зрачки — две бездны, в которых клубилась пустота. Древняя, первозданная пустота, которая была здесь ещё до того, как первые боги проснулись. И в этой пустоте, если смотреть достаточно долго, можно было увидеть собственное отражение. Искажённое. Умирающее. Чужое. Отражение того, кем ты станешь, когда все мечты сгорят, а надежды рассыплются в прах.

Вальтера, прожившая более тысячи лет, не отвела взгляда.

Она смотрела в эти глаза — эти бездны, эти колодцы, уходящие в бесконечность, — и чувствовала, как древняя тьма внутри неё самой откликается. Не враждебно — вопрошающе. Как старый волк, чующий в щенке родственную кровь, как древнее дерево, чьи корни переплелись с корнями другого, как сама вечность, встречающая своё отражение. В груди у неё, там, где тысячу лет назад перестало биться человеческое сердце, что-то дрогнуло. Что-то, что она считала мёртвым навсегда.

— Отдай его мне, — голос Царицы Ночи прозвучал тихо, но в этой тишине он показался раскатом грома.

Аталар засмеялась.

Каркающий, сухой смех, похожий на треск ломающихся костей. Она смеялась так, что её тело сотрясилось, и ребёнок на её руках вздрагивал в такт этим конвульсиям — но не плакал.

Не издал ни звука. Только смотрел своими чёрными глазами на потолок, где в щелях между камнями клубилась плесень.

— Это не игрушка, Вальтера, — прошипела она, и в этом шипении, на удивление, прозвучала звериная, материнская ярость — последний отблеск того, что когда-то делало её живой. — Это возмездие. Я носила его двадцать лет. Двадцать лет я вкладывала в него свою боль, свою злость, свою кровь, отравленную Рубином. Я умерла, чтобы он родился. Что ты можешь дать ему взамен?

— Жизнь, — коротко ответила Вальтера. — Не прозябание в темнице. Не судьбу оружия. Не жизнь в страхе и ненависти.

— А ты? — в глазах Аталар блеснул осколок бывшего любопытства — того самого, которое когда-то заставляло её изучать запретные ритуалы и открывать врата в миры, куда не ступала нога смертного. — Для чего он тебе? Власть? Месть? Или ты думаешь, что сможешь его *исправить*? Сделать из Тьмы Свет?

Вальтера не дрогнула.

Она протянула руки.

В этот момент младенец пошевелился. Его чёрные глаза медленно, очень медленно перевели взгляд с лица матери на лицо Вальтеры — и замерли. В них не было любопытства, не было страха, не было узнавания. Была только тишина. Та самая тишина, которая предшествует сотворению мира — когда ещё нет ни звука, ни света, ни времени, а есть лишь бесконечная, всепоглощающая пустота, готовая принять форму.

И он протянул к ней руку.

Маленькую, золотую, с крошечными коготками, ещё мягкими, как у котёнка. Его пальцы разжались, раскрылись, и Вальтера вдруг поняла с леденящей ясностью: это не просьба. Это *выбор*. Ребёнок выбирал её. Из всех, кто мог прийти в эту камеру, кто мог забрать его, кто мог распорядиться его судьбой, он выбрал её.

Аталар смотрела на это и плакала. Впервые за двадцать лет.

Слёзы текли по её иссохшему, пергаментному лицу, скатывались в морщины, смешивались с грязью, собирались в капли, которые падали на пол с едва слышным стуком. Она не вытирала их — не было сил, не было желания, не было смысла.

— Забирай, — прошептала она, и в её голосе не осталось ни ярости, ни надежды — только пустота. — Забирай, пока я не передумала. Забирай, пока я не поняла, что отдаю его врагу. Забирай и не возвращайся. Никогда.

Вальтера взяла тёплое, пугающе лёгкое тельце на руки.

Ребёнок пах озоном и древностью — тем особым запахом, который бывает в местах, где время течёт иначе. В нём чувствовался привкус грозы, запах чистого, первозданного, ещё не использованного электричества. Он затих, прижался к её груди — доверчиво, как может прижиматься только ребёнок, который ещё не знает, что такое предательство, — и закрыл глаза.

Его ресницы были длинными, золотистыми, с едва заметными серебряными кончиками. Они дрожали на щеках, как крылья бабочки.

— Я Царица Ночи, — прошептала Вальтера, поворачиваясь к выходу. Её голос был тихим, но в этой тишине он звучал как клятва. — Во мне есть место и для света, и для тьмы. Возможно, я смогу научить его равновесию. Возможно, нет. Но я попробую.

Она шагнула во тьму коридора.

Позади осталась плачущая Аталар, чьи слёзы, наконец, иссякли, и она сидела в тишине, глядя в пустоту, как изваяние, высеченное из скорби.

Впереди, в Империи, её ждала новая война — война с прошлым, с драконами, с собственной совестью, с теми, кто не простит ей этого выбора. Но сейчас на руках у неё спал маленький мальчик, которому суждено было изменить всё.

Она спускалась по лестнице — осторожно, стараясь не потревожить его сон. Каждую ступеньку она проверяла ногой, прежде чем перенести вес, хотя знала эти ступени наизусть. Свет факелов отбрасывал длинные тени на стены, и эти тени, казалось, тянулись к ней, пытаясь коснуться ребёнка, но отступали, обожжённые его светом.

Далеко на Севере, в землях племени Бронзового Медведя, старая нерпа-пророчица Литра вынырнула из проруби. Вода вокруг неё вспенилась, закружилась воронкой, и в этой воронке отразились не звёзды — судьбы. Тысячи судеб, сплетённых в непостижимый узор, который она могла читать как книгу.

— Родился, — прошептала она в ледяную тишину, и её голос, древний и бесстрастный, разнёсся над замёрзшим озером, как эхо погибшей цивилизации. — Началось.

Ветер завыл, замечая следы.

Глава 1: Логово Золотого Дракона

Горы Кха-Дронг. Год 5138 от Основания. Двенадцатая ночь Зимней Луны.

Горы Кха-Дронг не знали света. Они никогда его не знали — даже в те далёкие времена, когда первые драконы только учились складывать крылья и подниматься в небо, эти пики были окутаны вечной тьмой. Они вздымались к небу, как застывшие клыки древнего зверя, умершего, но так и не упавшего — его скелет, окаменев за миллионы лет, стал этим горным хребтом, и теперь он сторожил границу миров.

Пики были чёрными, словно выточенными из обсидиана — того самого, что добывают в жерлах потухших вулканов и используют для самых тёмных ритуалов, — и лишь в глубоких расщелинах тускло, агонизирующе мерцали прожилки кварца. Свет, запертый в камне тысячи лет назад, когда континенты ещё только формировались, а океаны не нашли свои берега. Этот свет не грел — он только напоминал о том, что когда-то здесь было тепло.

Облака здесь были не белыми — свинцовыми, тяжёлыми, набухшими не водой, а пеплом и магической пылью. Они не плыли по небу, как обычные облака — они *висели* над вершинами, как саван, как покрывало, которым накрывают умерших перед погребением. Ветер здесь не гулял — он *выл*. Протяжно, низко, надсадно, словно оплакивал что-то, забытое ещё до рождения драконов. В этом вое слышались голоса — не одного существа, а миллионов, всех, кто когда-то жил на этих склонах и умер, не дождавшись рассвета.

Ларг, капитан тайной стражи Царицы Ночи, шёл вверх по тропе, которой не было ни на одной карте.

Его сапоги из драконьей кожи — заговорённой от холода и магического обнаружения — ступали бесшумно, как у кошки, но каждый шаг давался с трудом. Воздух здесь был разрежённым, и даже его лёгкие, тренированные годами восхождений, с трудом справлялись с нагрузкой. За его спиной, укутанный в чёрный плащ из паутины лунных пауков (того самого, что был соткан эльфийскими мастерицами и подарен Вльтере в день её коронации), спал Золотой — дитя проклятия, весившее не больше котёнка.

Плащ был велик для младенца — он обвивал его, как кокон, как саван, как объятия, которых у этого ребёнка не было и, возможно, никогда не будет. Только маленькая золотая ручка торчала из складок — и в свете звёзд, редких в этом мире вечной тьмы, она светилась, как маяк. Как маяк для тех, кто искал его.

Тропа была старой. Настолько старой, что даже горы, казалось, забыли о её существовании. Она вилась по карнизам, где с одной стороны зияла пропасть — чёрная, бездонная, в которой, если смотреть достаточно долго, можно было увидеть собственное отражение, уходящее в бесконечность, — а с другой нависала скала, покрытая ледяными сосульками. Сосульки были размером с копья, а некоторые — с целые деревья, и они нависали над тропой, как мечи Дамокла, готовые сорваться от малейшего сотрясения.

Снег здесь не лежал. Он был *вмёрзшим* в камень — тысячелетия холода спрессовали его в ледяную корку, по которой скользили сапоги даже с шипами. Ларг шёл осторожно, проверяя каждый шаг, потому что знал: падение с этой высоты не оставит ничего — ни тела, ни души. Говорили, что в этих горах души падающих не поднимаются наверх, а остаются в ущельях, вмёрзшие в лёд, и воют по ночам вместе с ветром.

Воздух с каждым шагом становился тяжелее. Насыщенный серой, железом и древней магией, он оседал на лёгких липким осадком, как маслянистая жидкость из алхимических реторт. Меч Ларга на поясе начал тихо вибрировать — так оружие чувствует присутствие высших. Легендарный клинок «Певец Бурь», выкованный гномьими мастерами из метеоритного железа, помнил кровь тысяч врагов и никогда не ошибался: если он вибрировал, значит, рядом была сила, способная уничтожить всё живое в радиусе мили.

Расщелина, ведущая в логово, открылась перед ним внезапно. Стены сомкнулись, скрыв отражение луны — той самой, что ещё недавно светила над его головой, — и Ларг шагнул в багровый полумрак.

Зал был огромен, несоизмерим с человеческим восприятием.

Своды терялись в темноте, где капала вода, и каждая капля, падая вниз, звучала как удар колокола на похоронах — глубокий, тягучий звук, который длился вечность, прежде чем замереть. Пол был выложен плитами золотого обсидиана, отполированного до зеркального блеска тысячами драконьих шагов. В этом зеркале отражался не сам Ларг — его искажённая, пугающая тень, её глаза горели красным в глубине камня, как угли в потухшем костре.

Тени здесь жили своей жизнью. Они не зависели от источников света — они были самостоятельными сущностями, порождёнными тьмой этого места. Они двигались медленно, плавно, как водоросли в глубине океана, и иногда, если смотреть достаточно долго, в них можно было различить лица. Лица тех, кто когда-то вошёл в это логово и не вышел.

В центре зала, вокруг кратера с бурлящей лавой, сидели **они**.

Лава была не обычной — она была чёрной, с золотыми прожилками, и пульсировала в такт сердцу горы. В её глубине, если прищуриться, можно было разглядеть движение — что-то живое ворочалось там, на дне, спросонья, не решаясь выбраться на поверхность. Воздух над кратером дрожал от жара, и этот жар был единственным источником тепла во всём логове.

Кха-Дронг, патриарх.

Он был похож на гору, покрытую мхом времени. Чешуя его, некогда золотая, потускнела до зеленовато-ржавого отлива, как старая бронза, которую долго держали под дождём. Морда была изрезана шрамами — каждый шрам помнил свою историю, каждую битву, каждую победу и каждое поражение. Глаза, жёлтые с вертикальными зрачками, смотрели на вошедших без интереса — как смотрит камень на муравья, ползущего по его поверхности. Безразлично. Но в этом безразличии читалась угроза: его терпение было безграничным, но не бесконечным.

Он не смотрел на вошедших. Он *знал*, что они здесь. Он знал это с того момента, как они ступили на тропу, — может быть, раньше. Может быть, он знал об их приходе ещё до того, как Вальтера приняла решение. Древние драконы чувствуют судьбу так же, как обычные люди чувствуют запах дыма — за версту.

Варгис, наследник.

Молодой, налитой грубой силой, которую он не умел контролировать. Его чешуя блестела, как новый червонец, а в глазах горело высокомерие — то самое, которое отличает сильного от мудрого. Он был красив той опасной, хищной красотой, от которой кровь стынет в жилах, но в его взгляде не было глубины — только пустота. Только жажда власти. Только уверенность, что всё в этом мире принадлежит ему по праву.

Его когти — длинные, острые, вычищенные до блеска — царапали каменный пол, оставляя глубокие борозды, которые тут же затягивались магией горы. Он не мог сидеть спокойно — его тело требовало движения, действия, насилия. Когда он посмотрел на Ларга, в его глазах загорелось любопытство хищника, который видит добычу, но не уверен, стоит ли её трогать.

Аурелия, дочь патриарха.

Холодная, как лезвие ножа. Её глаза цвета морской волны смотрели на Ларга с животным любопытством, смешанным с брезгливостью — тем особым чувством, которое испытывают чистокровные аристократы, глядя на грязных слуг. Она была прекрасна той ледяной красотой, которая не согревает, а замораживает — красотой статуи в древнем храме, красотой смерти.

Её крылья были сложены за спиной — огромные, перепончатые, с золотыми прожилками, которые пульсировали в такт сердцу. Говорили, что она может одним взмахом этих крыльев создать ураган, способный снести город. Говорили, что её голос заставляет камни плакать. Говорили многое, но никто не знал правды.

Ларг опустил ящик на пол.

Младенец внутри не спал. Его золотая кожа тускло светилась в багровых сумерках зала, отбрасывая блики на морды драконов. Чёрные глаза смотрели в потолок, где лава отражалась тысячами красных бликов, и эти глаза были единственным живым, что было в этом зале.

— Примите дар Империи, — сказал Ларг, и его голос прозвучал глухо, эхом отражаясь от стен. Он не поклонился — Вальтера не приказывала кланяться. Только выпрямился и сжал рукоять меча на поясе. На всякий случай.

— Что это? — спросила Аурелия, и в её голосе прозвучала брезгливость, смешанная с любопытством. Её крылья дрогнули, расправились на дюйм, и в зале поднялся ветер.

— Ответ, — патриарх поднялся. Его чешуя заскрежетала, застонала, как старое дерево на ветру. — И проклятие.

Кха-Дронг приблизился. Его когти, длинные как кинжалы, оставляли глубокие борозды в камне — не нарочно, просто от тяжести тела, от тысячелетий, которые давили на его плечи. Он опустил морду к младенцу — так низко, что его горячее дыхание коснулось золотой кожи, — и вдохнул его запах. Глубоко. Жадно. Так дышат только те, кто чувствует нечто знакомое в чужом запахе.

— Тьма, — произнёс он с горечью, и в этой горечи была древняя, всепоглощающая тоска. — Новая. Рождённая не из хаоса, а из ненависти и чёрного камня. Тьма, которая помнит.

— Убьём, — Варгис шагнул вперёд, чешуя угрожающе заскрежетала. Его глаза загорелись азартом — тем самым, который появляется у хищника, когда он видит слабую добычу. — Пока слаб. Пока не научился говорить. Пока не стал угрозой.

— Нет, — Кха-Дронг поднял лапу. Огромную, с когтями, которые сверкнули в свете лавы, как пять кинжалов. — Тьма не умирает. Её можно только переписать. Запечатать. Направить. Но не убить. Убить тьму — значит убить часть мира.

Он протянул когтистую лапу к младенцу, и тот замер. Чёрные глаза встретились с золотыми — взгляд, который длился вечность. В этом взгляде не было страха — только ожидание. Ребёнок ждал. Он знал, что здесь решается его судьба, и принимал это так же спокойно, как принимал холод и голод в каменной келье матери. Он привык ждать. Он умел ждать.

— Мы вырастим его, — решил патриарх после долгой паузы, и каждое его слово падало в тишину, как камень на дно колодца. — Среди нас. Сильный выживет — это наш путь. Слабый умрёт — это тоже наш путь. Пусть сам докажет, чего стоит.

— Отец, это не наш ребёнок! Это выродок! Порождение Тьмы! — возмутился Варгис, и в его голосе прозвучала не только ярость, но и страх. Страх перед тем, что этот ребёнок может стать сильнее его. Что его место наследника может оказаться под угрозой.

— Он будет нашим, — отрезал старый дракон, и в его голосе зазвенела сталь — та самая, которая не гнётся и не ломается. — Если победит себя. Если сможет переписать свою судьбу. Если докажет, что достоин.

Аурелия и Варгис переглянулись. В их взглядах читалось одно и то же — неприятие, смешанное со страхом перед отцом. Никто не смел перечить патриарху. Никто никогда не смел. И сейчас, когда его морда была в дюйме от лица младенца, когда его дыхание обжигало золотую кожу, никто не произнёс ни слова.

Ларг, стоявший у стены, незаметно выдохнул.

Ритуал начался.

Кха-Дронг, используя древнее заклинание — то самое, что передавалось в его роду из поколения в поколение на протяжении тысячелетий, — вонзил свой коготь в крошечную руку младенца. Кровь — золотая, с чёрными прожилками, пульсирующая, как живое существо, — брызнула на каменный пол и зашипела, испаряясь. На месте, куда упали капли, остались тёмные, дымящиеся пятна — следы, которые не смоеет ни вода, ни время. Следы связывающего ритуала.

Младенец не закричал. Даже не вскрикнул. Только посмотрел на свою кровь, на то, как она шипит и испаряется, и в его чёрных глазах мелькнула искра — не боли, понимания. Он знал, что это значит. Он чувствовал, как древняя магия вплетается в его плоть, как корни дерева, которое сажают в чужую землю.

— Отныне ты связан с нами, — прогудел патриарх, и его голос эхом разнёсся по залу, отражаясь от стен, умножаясь, превращаясь в гул. — Ты будешь жить в наших горах. Ты будешь есть нашу еду. Ты будешь учиться нашей силе. И если ты выживешь — ты станешь одним из нас. Если нет — никто не вспомнит твоего имени.

Младенец смотрел на дракона, на Варгиса, на холодный камень. Он запоминал. Каждое лицо, каждое слово, каждый звук. Его чёрные глаза впитывали информацию, как губка впитывает воду, и где-то в глубине его существа, в том месте, которое взрослые называют «душой», этот опыт откладывался на полку, чтобы когда-нибудь, через много лет, стать оружием.

Ларг ушёл, когда лава в кратере начала тускнеть — переход от дня к ночи в этом мире не зависел от солнца, только от пульсации горы.

Он спускался с горы с тяжелым сердцем, и каждый шаг давался ему труднее, чем подъём. Ноги не слушались — не от усталости, от тяжести того, что он оставил на вершине. Ветер выл в ущельях, и в его вое Ларгу слышались крики — не настоящие, нет, он знал, что это только ветер, но сердце всё равно сжималось.

Он остановился на краю обрыва, глядя на огни Империи внизу.

Там, в долине, горели тысячи огней — жёлтых, оранжевых, красных. Огни домов, где спали дети, не зная, что такое тьма. Огни таверн, где пьяные мужчины пели песни о героях, которые никогда не существовали. Огни храмов, где жрецы молились богам, которые давно перестали слушать.

— Прости, малыш, — прошептал Ларг в пустоту. — Мы все тебя предали. Я предал. Вальтера предала. Империя предала. Ты никому не нужен. Никому, кроме тьмы.

Ветер завыл в ответ — тоскливо, зло, обещающе.

Ларг стоял на краю обрыва до тех пор, пока последние огни в долине не погасли. А потом повернулся и пошёл вниз, в тепло, в свет, в жизнь, которую он предал.

Глава 2: Тот, у кого нет имени

Горы Кха-Дронг. Пять лет спустя. Год 5143 от Основания.

Он научился просыпаться до рассвета.

Не потому, что хотел встретить солнце — солнечный свет не проникал в каменное чрево горы никогда, даже в полдень, когда за его пределами мир купался в золотых лучах. Он научился просыпаться потому, что только в эти короткие, полные животного ужаса минуты между глубокой ночью и тем моментом, когда драконы начинали ворочаться в своих золотых гнёздах, он мог существовать. Не выживать — существовать. Не сжиматься в комок в ожидании пинка — дышать. Не бояться каждого шороха — слышать.

Ниша, которую он выдолбил собственными маленькими, окровавленными пальцами в мягком камне между двух массивных золотых плит, пахла холодом. Не тем холодом, что заставляет стучать зубами — здесь было тепло, потому что драконьи тела нагревали воздух, превращая скалу в подобие печи. Это был другой холод. Холод одиночества. Холод забвения. Холод той части мира, которая существует только для того, чтобы её не замечали.

Ниша пахла сыростью, мхом, который рос в трещинах камня, и им самим — тем особым, въедливым запахом страха и одиночества, который пропитал его лохмотья, кожу, волосы, самую душу. Здесь, в этой тесной, как могила, расщелине, его никто не видел. Здесь он мог дышать, не вздрагивая от каждого шороха. Здесь он мог плакать — тихо, беззвучно, чтобы слёзы не привлекали внимание. Здесь он мог быть слабым, не боясь, что слабость будет наказана.

Имени у него не было.

Он помнил этот факт так же ясно, как помнил холод камня под спиной и голод, который никогда не уходил полностью, даже после того, как удавалось украсть кусок хлеба из драконьих отбросов. Имя — это то, что дают родители. Это слово, которое мать шепчет над колыбелью, которое отец выкрикивает, когда учит делать первые шаги. Это вибрация, с которой человек входит в мир и с которой он покидает его.

У него не было ничего этого.

Старшие драконы называли его «оно». Варгис, сын патриарха, именовал его «выродком» или «отродьем Тьмы», и эти слова всегда произносились с таким презрением, что даже стены, казалось, содрогались от отвращения. Ящеры-слуги, бросавшие ему объедки с таким видом, словно кормили бездомную собаку, называли его «тварью» — и в этом слове не было ничего, кроме животного отвращения. А однажды Аурелия, холодная и прекрасная, проходя мимо его ниши, бросила ему под ноги огрызок яблока и процедила: «Жри, пустота». Эти слова запомнились ему лучше всех — не потому, что были жестокими, а потому, что в них не было ненависти. Только равнодушие. Только признание того, что он — ничто. Даже не заслуживающий ненависти.

Матери он не знал. Её безжизненное тело унесли в первый же день; может быть, это была она, а может, кто-то другой — он не мог вспомнить. В памяти сохранились лишь обрывки: холодные руки, коснувшиеся его лба (или это был сон?); странный запах — приторно-сладкий, тошнотворный — который он потом научился узнавать за версту; и тихий, каркающий смех, эхом разносившийся по каменному мешку. Смех, который становился громче, когда он плакал, и тише, когда он замолкал. Смех, который научил его молчать.

Пять лет.

Он не ведал, много это или мало. Время здесь было текучим, как смола, которая не застывает, а течёт бесконечно, растягивая секунды в вечность. Он знал лишь одно: никто ни разу не назвал его по имени. Никто ни разу не спросил, как его зовут. Никто ни разу не задумался о том, что у него может быть имя.

Из его убежища — этой тесной, тёмной щели между плитами золотого обсидиана — открывался вид на главный зал. Там, у кратера с вечно кипящей лавой, грелись обитатели логова. Лава пульсировала в такт их дыханию, поднимаясь и опускаясь, как живое сердце, и в её багровом свете драконья чешуя отливала медью и золотом.

Аурелия кормила своего детёныша — толстого, лоснящегося дракончика с мягкой, ещё не затвердевшей чешуёй и глупыми, ещё не осознавшими мир глазами. Он довольно жмурился, посасывая молоко из серебряного сосуда, инкрустированного рубинами, которые мерцали в свете лавы, как капли крови. Сосуд был древним — его выковали ещё в те времена, когда драконы только начинали собирать свои сокровища, и он хранил тепло материнского молока лучше любой магии.

Мальчик смотрел на них, и в груди зарождался холод.

Не физический — тот самый, что превращает сердце в камень, в кусок льда, который не могут растопить ни тепло лавы, ни жар драконьих тел. Холод затравленного зверя, который понимает: он чужой в этой стае. Он не из их крови, не из их породы, не из их мира. Он — ошибка, которую природа забыла исправить, сорняк, который вырос в трещине между плитами, и который рано или поздно вырвут с корнем.

Голод терзал его постоянно.

Это был не тот голод, который испытывают люди, пропустившие обед, — ноющий, терпимый, утешаемый куском хлеба. Это был голод существа, которое никогда не ело досыта, которое привыкло, что еда — это роскошь, а сытость — недостижимая мечта. Желудок его, маленький и измученный, давно перестал подавать сигналы — он просто *болел*, глухо, ноюще, постоянно. Иногда боль становилась такой сильной, что он сворачивался калачиком в своей нише, прижимал колени к подбородку и терпел. Терпел, потому что другого выхода не было.

Еду приносили раз в два-три дня — объедки с драконьего стола. Кости с остатками мяса, которые ящеры-слуги бросали в его сторону, даже не глядя, куда попадёт подачка. Засохший хлеб, который размокал в лужах, превращаясь в грязное месиво, которое всё равно приходилось есть. Иногда — фрукты, червивые и подгнившие, но сладкие, и тогда он растягивал удовольствие на часы, откусывая по крошечному кусочку, наслаждаясь каждым мгновением.

Иногда он решался на кражу, пробираясь к остывшим остаткам трапезы, когда драконы уходили спать в свои гнёзда. Он крался бесшумно, как тень, — навык, который пришёл к нему сам собой, без учителей, — и его маленькие босые ноги скользили по холодному камню, не издавая ни звука.

Но всякий раз его ловили.

Вчера поймали вновь.

Варгис, молодой самец на пике жестокой силы — его чешуя блестела, как новое золото, мускулы перекачивались под кожей, как стальные канаты, — наступил ему на руку.

Нечаянно? Мальчик не был в этом уверен. Тяжелая, усеянная шипами лапа опустилась на его запястье с той медленной, ленивой жестокостью, которая бывает у хищников, играющих с добычей. Варгис наклонил голову — его жёлтые глаза с вертикальными зрачками сверкнули в темноте — и с холодным, изучающим любопытством наблюдал, как тонкие, хрупкие косточки хрустят под его весом. Хруст был тихим, но в тишине подземелья он прозвучал как выстрел.

Мальчик не издал ни звука.

Он давно усвоил жестокую науку этого логова: крик лишь раззадоривает палача. Стон — приглашает к новому удару. Слеза — просьба о пощаде, которой не будет. Надо молчать. Надо стать камнем. Камни не чувствуют боли. Камни не плачут. Камни не умирают — их просто передвигают с места на место.

— Выродок, — прошипел Варгис, и его дыхание — горячее, пахнущее сырым мясом и серой — опалило мальчику лицо. — Пресмыкайся вниз, червь. Жри наши отбросы и благодарите за то, что мы позволяем тебе дышать одним с нами воздухом. Понял?

Он надавил сильнее — и кости, уже надломленные, захрустели с новой силой. Боль была белой, ослепительной, такой, что мир перед глазами померк. Но мальчик не закричал. Не застонал. Только закусил губу так сильно, что кровь — тёмная, почти чёрная — потекла по подбородку, капая на золотые плиты.

Варгис отпустил руку лишь тогда, когда убедился, что мальчик не проронит ни слезинки.

Он удовлетворённо фыркнул и ушёл, тяжело ступая по камням, — его когти оставляли глубокие царапины в полу, которые не затягивались, как шрамы на старом лице.

Тот и не проронил.

Он уполз в свою щель, волоча искалеченную конечность, оставляя на золотых плитах тёмный, липкий кровавый след. Кровь была густой, почти чёрной — такой же, как у тварей, что жили в глубине гор, в тех пещерах, куда даже драконы боялись заходить. Он смотрел на этот след, когда заползал в убежище, и думал: может быть, она и правда чёрная? Может быть, он и правда не человек? Может быть, драконы правы, и он — чудовище, которому нет места среди живых?

Эту мысль он прогнал так же, как прогонял голод и боль — усилием воли, которая была единственным его богатством.

Сейчас рука невыносимо болела.

Пульсирующая боль поднималась к плечу, смешиваясь с тошнотой, с головокружением, с тем липким, всепоглощающим чувством, когда кажется, что сейчас потеряешь сознание. Кость была сломана в двух местах — он это знал, потому что слышал хруст, потому что чувствовал, как осколки трутся друг о друга при каждом движении. Рука распухла, посинела, и пальцы на ней — три из пяти — онемели, стали чужими, не своими.

Мальчик прижимал её к груди — осторожно, чтобы не причинить себе ещё больше боли, — и смотрел на сытого, ухоженного детёныша Аурелии. Тот уже закончил есть и теперь спал, свернувшись калачиком, положив морду на лапы. Его чешуя блестела, как полированное золото, и он улыбался во сне — наверное, ему снилось что-то хорошее. Может быть, полёт. Может быть, охота. Может быть, будущее, в котором он станет великим драконом, чьё имя будут помнить тысячелетия.

Знает ли он, что кто-то живёт в щели между плитами? — подумал мальчик. Знает ли он, что кто-то каждую ночь смотрит на его сны и завидует? Не его богатству, не его силе — его теплу. Его теплу, которого у меня никогда не было.

Все золотые драконы были едины в своей ненависти к нему. Это было единственное, в чём они сходились — патриарх, его дети, слуги, даже те, кто никогда не видел его лица, но слышал о «выродке» и пропитывался отвращением. Единство в ненависти — это тоже единство, и оно скрепляло клан сильнее, чем кровные узы.

Все, кроме одного.

Кха-Дронг, патриарх, иногда останавливался на нём долгий, изучающий взгляд. В выцветших янтарных глазах — таких старых, что они помнили времена, когда люди ещё жили в пещерах, — не было злобы. Только усталость. Та особая, древняя усталость существ, которые живут слишком долго, видят слишком много и уже не верят ни в добро, ни в зло. И что-то, отдалённо напоминающее жалость. Сожаление. Отражение того, каким он сам был когда-то.

Мальчик не верил в жалость. Для него она была лишь иной формой презрения: тебя не били, потому что ты слишком ничтожен даже для побоев. Тебя не замечали, потому что ты — пустое место. Тебя не кормили, потому что твоя жизнь не имеет цены.

Но была **Лисандра**.

Маленькая драконица, дочь Варгиса. Ей было года три — она ещё не умела как следует летать, и её крылья, маленькие и нежные, иногда складывались неправильно, заставляя её падать с насестов. Она была тоненькой, ещё не успевшей проникнуться всеобщей ненавистью, ещё не научившейся смотреть на мир сквозь призму расовой гордости. Иногда, улучив момент

— когда отец уходил на охоту, когда мать дремала в своём гнезде, когда слуги отворачивались, — она приносила ему еду. Краюху хлеба, ещё тёплую, пахнущую дрожжами и медом. Горсть орехов, которые она собирала в пещерах, рискуя провалиться в расщелину. Кусочек сыра, который она отрывала от своей порции, оставляя себе меньше.

Не говоря ни слова — её язык всё ещё не был достаточно гибок для фраз, а может, она боялась, что её услышат, — она оставляла приношение у входа в его убежище и бесшумно исчезала, растворяясь в тенях коридора, как маленький золотой призрак. Иногда она задерживалась на секунду, заглядывая в щель, и её глаза — зелёные, как весенняя листва, — встречались с его чёрными. В них не было страха, не было брезгливости, не было жалости. Только вопрос: «Почему ты живёшь там? Почему ты не выходишь?»

Она не понимала. Она была слишком маленькой для понимания таких вещей.

Сегодня она не пришла.

Мальчик ждал её весь день — с того момента, как проснулся, до того, как лава в кратере начала тускнеть, сигнализируя о наступлении ночи. Он прислушивался к шорохам в коридоре, к лёгким шагам, которые могли принадлежать только ей, к тихому дыханию, которое могло быть её. Всё напрасно.

Наверное, запретили. Наверное, Варгис заметил, что его дочь куда-то ходит, и приказал не приближаться к «выродку». Или Аурелия — она была умнее брата, она могла догадаться, могла проследить, могла наказать.

Мальчик сжался в комок, обхватив большую руку здоровой.

В животе урчало от голода — громко, требовательно, так, что, казалось, эхо разносится по всему залу. Где-то в глубине его существа, там, где у других детей живут воспоминания о материнских объятиях, где теплятся первые улыбки и звучат колыбельные, у него зияла пустота. Холодная, чёрная, огромная. Пустота, которую не могли заполнить ни еда, ни тепло, ни даже редкие моменты, когда он забывался сном и видел море — то самое, которого никогда не видел, но которое почему-то снилось ему каждую ночь.

Иногда ему начинало казаться, что эта пустота шевелится.

Что внутри него живёт кто-то ещё — не он, а другой, древний, голодный и терпеливый. Кто-то, кто ждёт своего часа за тонкой стенкой его сознания, кто копит силы в темноте, кто говорит с ним шёпотом, когда он засыпает. Этот «кто-то» сулил силу. Он сулил месть. Он сулил день, когда все, кто смеялся над ним, кто бил его, кто называл выродком, будут лежать у его ног и умолять о пощаде.

Мальчик боялся этого «кого-то». Боялся его холодного голоса в голове, который звучал так отчётливо, словно кто-то стоял рядом и шептал ему на ухо. Но ещё больше он боялся одиночества, которое этот «кто-то» обещал заполнить. Потому что одиночество было единственным, что он знал с рождения. Оно было его домом. Его семьёй. Его именем.

— Почему? — прошептал он в темноту, и его голос — тонкий, детский, дрожащий — разбился о каменные стены, рассыпался на осколки. — Почему я такой? За что?

Тьма не ответила. Но в её молчании была тишина, которая говорила громче любых слов: *«Ты такой, потому что много выбора не было. Ты такой, потому что мир жесток. Ты такой, потому что никто не пришёл тебя спасти».*

Далеко в Империи Вальтера не смыкала глаз, глядя в потолок своей опочивальни, и думала о ребёнке, которого оставила в горах. Каждую ночь, прежде чем уснуть, она произносила мысленно его имя — то, которое сама придумала, но не успела подарить.

— Аринал, — шептала она в пустоту. — Я вернусь за тобой. Обещаю.

А в горах мальчик без имени истекал кровью в одиночестве и плакал беззвучно, прижимая к груди золотую чешуйку, которую уронила Лисандра, когда в последний раз приносила ему хлеб.

И даже багровая лава в кратере горела тусклее этой ночью, словно сама стихия оплакивала его несбывшуюся жизнь, его потерянное детство, его имя, которое никто не произнёс.

Глава 3: Решение Царицы Ночи

Империя Дарада. Тронный дворец. Год 5143 от Основания.

Ларг вернулся с севера через семь дней.

Его лошадь — гнедая кобыла по кличке Вьюга, выведенная в северных степях специально для дальних переходов, — была загнана до мыльного пота, её бока ходили ходуном, а из ноздрей вырывались клубы пара, смешанного с кровью. Копыта её стучали по каменным плитам дворцового двора как погребальный барабан, и стражники, выдавшие виды, отводили взгляды, потому что не могли смотреть на эту агонию. Лошадь едва держалась на ногах, её голова поникла, глаза закатились, но капитан гнал её вперёд, не давая остановиться, не давая упасть, не давая умереть до того, как весть будет доставлена.

В его сердце klokотала ярость. Не та горячая, взрывная, что застилает глаза и толкает на безрассудства, — холодная, выверенная, накопленная за семь дней пути, за семь дней, когда он смотрел на север и думал о мальчишке, которого оставил в горах.

В этот раз, на пятый год, он готовился к худшему. И худшее превзошло все его ожидания.

Прошлой весной, когда он приезжал с инспекцией, мальчик был худым, но хотя бы живым. Он прятался в своей щели, вздрагивал при каждом звуке, но в его чёрных глазах ещё теплилась искра — та самая, которая отличает живое от мёртвого, надежду от отчаяния, человека от куска мяса. Ларг тогда подумал: «Ничего, выдержит. Ещё год. Ещё один год, и я смогу что-то сделать».

Ошибся.

Мальчик был худ до прозрачности. Кожа обтягивала кости так плотно, что можно было пересчитать каждое ребро — их было двенадцать пар, как у всех, но они выступали под кожей, как клавиши древнего инструмента, на котором никто никогда не играл. Позвонок вырисовывались на спине, когда он сидел, согнувшись в три погибели, и казалось, что ещё немного — и кожа порвётся, и кости вывалятся наружу, как из мешка.

Руки и ноги покрывали синяки — старые, жёлтые, с зелёными краями, и свежие, багрово-чёрные, с фиолетовыми разводами, которые расползались под кожей, как чернила на промокшей бумаге. Некоторые были размером с ладонь Ларга — огромные кровоподтёки, уходившие глубоко в мышцы, такие, что даже прикосновение причиняло невыносимую боль.

Одна рука, распухшая, неестественно вывернутая, была сломана в двух местах.

Ларг не был лекарем, но он знал, как выглядят переломы — повидал их на войне, где кости ломались чаще, чем мечи. Кость предплечья была сломана чисто — осколки не сместились, но и не срослись. А вот запястье... запястье было раздроблено. Там, где должны были быть целые косточки, хрустела крошка, и даже при самом бережном прикосновении мальчик зажимивался, и из его плотно сжатых губ вырывался сдавленный, едва слышный стон.

В такой руке нельзя было держать ложку. Нельзя было опираться на неё, когда ползёшь. Нельзя было даже поднести её к губам, чтобы слизывать кровь, которая сочилась из ран под ногтями.

Глаза мальчика — огромные, чёрные, бездонные — уставились на Ларга с таким животным ужасом, что у капитана остановилось сердце. В этих глазах не было узнавания — только страх. Только ожидание удара. Только готовность сжаться в комок, спрятаться, исчезнуть, стать невидимым.

— Не бей, — беззвучно прошептал он одними губами. Его голос не работал — горло пересохло, язык распух, связки отказали. Но Ларг прочитал по губам: — Я ничего не крал.

Ларг сглотнул комок ярости и стыда. Ярости — на драконов, которые это сделали. Стыда — на себя, который не вмешался раньше. На Вальтеру, которая не приказала. На весь мир, который смотрел на это и отворачивался.

— Я не бить, — выдавил он, чувствуя, как слова застревают в горле. — Я пришёл проведать. Госпожа Вальтера велела.

Мальчик не поверил. Он сжался ещё сильнее, втянул голову в плечи, прижал колени к подбородку, пытаясь стать маленьким, незаметным, невидимым. Он закрыл глаза — чёрные, бездонные провалы — и замер, как зверёк, который притворяется мёртвым в надежде, что хищник потеряет интерес.

И тогда Ларг увидел то, что заставило его забыть о страхе перед драконьим гневом, забыть о приказе Вльтеры, забыть о собственной безопасности.

На каменном выступе рядом с нишей лежала маленькая золотая чешуйка.

Драконья чешуя — такая, какие теряют детёныши, когда растут. Она была размером с ноготь мизинца, тонкая, полупрозрачная, с едва заметными прожилками рун, которые появляются на чешуе только у чистокровных золотых драконов. Рядом — засохшая, покрытая белой и зелёной плесенью лепёшка. Хлеб, который когда-то был свежим, а теперь превратился в твёрдый, как камень, комок, который невозможно было разжевать.

Кто-то пытался помочь.

Кто-то маленький и добрый сердцем — кто-то, кто ещё не научился ненавидеть, кто ещё не понял, что этот мальчик — «выродок», которого следует избегать. Кто-то, кто рисковал — возможно, не понимая, чем рискует, — чтобы принести еду тому, кто голоден, и тепло тому, кто замёрз.

Но помощь запоздала.

Лепёшка заплесневела. Чешуйка потеряла блеск. И мальчик, который, возможно, ждал этого маленького золотого посланца, надеялся, что она придёт снова, — уже не ждал. Его глаза говорили: он перестал надеяться.

Ларг выскользнул из зала и побежал.

Он бежал так быстро, как никогда в жизни — не оглядываясь, не разбирая дороги, спотыкаясь о камни, срывая ногти, пытаясь удержать равновесие на крутых спусках. Ветер свистел в ушах, сердце колотилось где-то в горле, лёгкие горели огнём. Он бежал, потому что если бы пошёл шагом — не успел бы. Если бы задержался ещё на минуту — сошёл бы с ума.

Внизу, в долине, его ждала лошадь — отдохнувшая, накормленная, готовая к обратному пути. Ларг вскочил в седло и понёсся на юг, в столицу, к Вльтере, к единственной, кто мог принять решение.

Империя Дарада. Покои Вльтеры. Та же ночь.

Вальтера сидела за своим рабочим столом, заваленным свитками, когда Ларг ворвался в покои без стука.

Он упал на колени — не перед троном, не перед алтарём, а просто рухнул, как подкошенный, прямо посреди комнаты, и его лоб ударился о каменный пол с глухим, влажным стуком. Глаза его были красными — не от недосыпа, от слёз, которые он не позволял себе пролить в пути, но которые сейчас, наконец, прорвались наружу.

— Госпожа... — голос его сорвался на хрип, и он замолчал, не в силах продолжать, потому что слова застревают в горле, превращаясь в комок, который душил его. — Вы должны увидеть это собственными глазами.

Вальтера медленно оторвала взгляд от свитка — древнего пергамента, на котором были записаны пророчества Саваллы, те самые, что она перечитывала сотни раз, пытаясь найти в них намёк на то, что её ждёт.

— Докладывай, — приказала она, и в её голосе не было ни жалости, ни любопытства — только ледяное спокойствие.

Но Ларг, знавший её много лет, услышал под этим спокойствием дрожь. Тонкую, едва уловимую вибрацию, как у натянутой струны, которая вот-вот лопнет. Она боялась. Царица

Ночи, правительница Империи, женщина, чьё имя произносили с трепетом на трёх континентах, — боялась того, что услышит.

И Ларг поведал всё.

Он говорил долго — не перебивая, не пропуская деталей, не смягчая правды. О синяках, покрывающих тело ребёнка, как карта неизведанных земель. О голоде, который превратил его живот в впалую яму, где можно было удержать горсть воды. О сломанной руке, брошенной без лечения, о костях, которые срослись неправильно, если вообще срослись.

О глазах — чёрных, бездонных, в которых не было ничего, кроме животного, всепоглощающего страха. Взгляда, который, казалось, говорил: «Бей, если хочешь. Всё равно больно. Всё равно пусто. Всё равно не имеет значения».

— Ему пять лет, госпожа, — голос капитана дрогнул, когда он произнёс это, и в этой дрожи было столько боли, сколько он не позволял себе за всю жизнь службы. — Пять лет. А весит он не более двухгодовалого младенца. Я поднимал его — он легче моего меча. Он не знает, что такое доброта. Он не знает, что такое улыбка. Он не знает, что такое — когда тебя не бьют. Он не живёт — он выживает. И каждый день, когда он просыпается, он не знает, будет ли этот день последним.

Вальтера молчала.

Молчала долго, очень долго — так долго, что Ларг начал думать, не ушла ли она в свои мысли навсегда, не покинула ли этот мир, оставив его одного с этой правдой. Но она была здесь — её дыхание, тихое и ровное, слышалось в тишине комнаты. Её пальцы, сжимавшие подлокотник кресла, побелели от напряжения. Её лицо — бледное, прекрасное, бесстрастное — застыло, как маска, но под этой маской, где-то глубоко, что-то шевелилось. Что-то, что она считала умершим тысячу лет назад.

— Ты сказал, рука сломана? — наконец спросила она, и голос её был чужим — не её, а какой-то другой женщины, той, которая живёт где-то внутри неё и которую она никогда не показывала миру.

— Варгис наступил на неё. Нарочно. Он... — Ларг запнулся, подбирая слова. — Он смотрел, как хрустят кости, госпожа. У него было удовольствие на лице. Я видел.

— И никто не вправил кости?

— Никто, госпожа. Никто не подошёл. Никто не помог. Никто даже не посмотрел в его сторону, когда он полз к своей щели, волоча за собой эту руку, оставляя кровавый след.

Вальтера медленно поднялась.

Её лицо стало белее мела — такого белого, что казалось, будто она вот-вот растворится в свете магических ламп, превратится в призрак, в тень, в воспоминание. Только глаза — алые, горящие — свидетельствовали о том, что она жива.

— Снаряжай отряд, — приказала она, и в её голосе зазвенела сталь — та самая, которую Ларг слышал только перед битвой, когда речь шла о жизни и смерти. — Десять лучших бойцов. Ночных. Тех, кто умеет двигаться бесшумно, убивать быстро и исчезать без следа. Мы выступаем сегодня же.

— Госпожа, но драконы... — Ларг поднял голову, и в его глазах — красных, заплаканных — мелькнул страх. Не за себя — за неё. — Это логово Кха-Дронга. Древний клан. Самый сильный в этих горах. Если мы пойдём открыто, они...

— Я Царица Ночи, — оборвала она, и в её голосе прозвучала такая сила, что даже старые свитки на столе вздрогнули. — Я пять лет притворялась, будто не ведаю, что творится. Довольно!

Она шагнула к окну.

Рассвет уже золотил шпили дворца — тонкие, изящные шпили из белого камня, которые, казалось, касались самого неба. Первые лучи солнца пробивались сквозь облака, окрашивая

их в розовый и золотой, и в этом свете Вальтера казалась не Царицей Ночи, а кем-то другим — уставшей женщиной, которая несёт на плечах слишком тяжёлую ношу.

— Я думала, что спасаю мир, — сказала она, и в её голосе впервые прозвучало сомнение. — Я думала, что поступаю мудро. Я думала, что спрятав угрозу подальше, я защищу свою семью, свою Империю, свой народ. А я всего лишь обрекла ребёнка на растерзание тварям. Я ничем не лучше их. Я — такая же монстр.

Она обернулась.

В глубине её глаз — алых, как кровь, как закат, как пламя, — полыхнула тьма. Не та, что спит в глубине её существа, ожидая своего часа, а другая — древняя, первозданная, перед которой трепетали даже боги. Тьма, которая была здесь ещё до того, как появился свет, и которая останется, когда свет погаснет.

— Мы выступаем нынче же. — Её голос был тихим, но в этой тишине он звучал как приговор. — И если золотые ящеры посмеют преградить нам путь, я напомню им, почему даже драконы страшатся Ночи.

Горы Кха-Дронг. Закат того же дня.

Отряд Вальтеры двигался быстро, как стая призраков.

Десять бойцов в чёрных плащах, заговорённых от взгляда и магического обнаружения, скользили между скалами, как тени. Их шаги были бесшумны, дыхание — ровным, а глаза — холодными и внимательными. Это были те, кого Вальтера лично отобрала для опасных заданий — ветераны тайной войны, существа, чьи имена не значились ни в каких списках, чьи лица не запоминали свидетели.

Ларг шёл впереди, указывая путь.

Он вёл их по той самой тропе, которой не было на картах, — через расщелины, которые знал только он, по карнизам, где один неверный шаг означал смерть, мимо мест, где воздух был настолько насыщен магией, что у неподготовленного человека пошла бы носом кровь.

Вход в логово охраняли двое дозорных — молодые ящеры, чья чешуя ещё не успела потемнеть от времени. Они стояли у входа в пещеру, прислонившись к стенам, и клевали носами — сказывалась долгая вахта, сказывалась уверенность, что никто не посмеет напасть на логово Кха-Дронга.

Они даже не поняли, что случилось.

Вальтера просто прошла мимо них — и они осели на камни, погружённые в глубокий сон древней магией. Даже не застонали, не вздрогнули — просто закрыли глаза и замерли, как статуи, как изваяния, как те, кто никогда не проснётся.

Внутри было жарко и душно.

Воздух в логове пах серой, расплавленным камнем и чем-то ещё — тем сладковатым, приторным запахом, который Вальтера помнила по той ночи, когда забирала младенца. Этот запах вьёлся в стены так глубоко, что, казалось, сам камень начал источать его.

Вальтера уверенно шла по памяти, ведомая описаниями Ларга и собственными древними инстинктами, которые не подводили её никогда. Она знала, где повернуть, где пригнуться, где переждать, пока патруль пройдёт мимо. Она чувствовала драконов — их дыхание, их сердцебиение, их мысли. И они не чувствовали её.

Главный зал. Кратер с лавой. Лава пульсировала, как живое сердце, и в её багровом свете тени на стенах плясали, как призраки, как те, кто уже умер, но ещё не понял этого.

Драконы спали.

Все, кроме одного.

Кха-Дронг не спал. Он сидел у края кратера, положив морду на сложенные лапы, и, казалось, ждал. Его глаза — выцветшие, янтарные — смотрели в темноту, и в них, в глубине, мерцал тот же багровый отсвет, что и в лаве.

Он ждал её. Он знал, что она придёт.

— Я знал, что ты придёшь, — прогудел он, и его голос эхом разнёсся по залу, отражаясь от стен, умножаясь, превращаясь в гул. — Совесть, она... дама гордая. Не терпит, когда её игнорируют.

— Где дитя? — спросила Вальтера, не тратя времени на приветствия, на угрозы, на пустые слова. Её голос был холодным, как лёд, и в этой холодности чувствовалась решимость, которую не могли сломать никакие драконьи клыки.

Патриарх кивнул в сторону тени — туда, где между двумя массивными плитами золотого обсидиана чернела узкая, едва заметная расщелина.

— Там, — сказал он. — Он всегда там прячется. От нас. От света. От себя.

Вальтера устремилась туда, но Кха-Дронг остановил её, подняв лапу — огромную, с когтями, которые сверкнули в свете лавы, как пять кинжалов.

— Ты должна знать, — сказал он, и в его голосе впервые прозвучало нечто, похожее на сожаление. — Он не просто сын Аталар. Он — Чад Тьмы. То, что зрело за Вратами тысячу лет, теперь зреет в нём. В нём — тьма древнее любого из нас. Тьма, которая помнит времена до богов. Мы пытались наставить его на путь света. Но мы не знаем, что есть истинный свет для такого, как он.

— Вы ответите за содеянное, — бросила Вальтера, не оборачиваясь.

Она опустила на колени перед щелью.

Оттуда пахло — мочой, потом, страхом. Запах был таким густым, таким насыщенным, что, казалось, его можно было резать ножом. В этом запахе было всё, через что прошёл этот ребёнок: голод, боль, унижение, отчаяние. Запах существа, которое уже не надеется на спасение.

— Выходи, — позвала она тихо, и её голос — обычно холодный, властный — сейчас звучал мягко, почти нежно. Так говорят с пойманными птицами, когда хотят, чтобы они не боялись. Так говорят с детьми, когда хотят, чтобы они доверились.

Из темноты на неё смотрели два чёрных глаза.

Маленький, грязный, с сломанной рукой, прижатой к груди. Его кожа отливала золотом — даже сквозь грязь и синяки, даже сквозь кровь и запёкшуюся грязь, даже сквозь тусклый, болезненный цвет голода и болезни. Он был похож на древнюю монету, которую откопали в земле — потускневшую, изношенную, но всё ещё золотую.

В глазах не было мольбы. Только усталость.

— Не бей, — прошептал он — беззвучно, одними губами. — Я ничего не брал. Я сидел тихо. Я никому не мешал.

Вальтера протянула руку в щель.

— Я пришла забрать тебя, — сказала она твёрдо, и в её голосе не было сомнений. — Навсегда. Ты больше никогда не вернёшься в это место.

Мальчик молчал. Смотрел на её руку — бледную, с длинными пальцами, с идеальным маникюром, — и не верил. Он знал: взрослые врут. Драконы врут. Все врут. Рука, протянутая в темноту, может оказаться ловушкой, капканом, который захлопнется, как только он вылезет из своего убежища.

Он сжался ещё сильнее, вжался в стену спиной — настолько, что камень закрипел, царапая кожу.

— Врут, — прошептал он, и в этом шёпоте было столько боли, что Вальтера, не зная жалости тысячу лет, почувствовала, как сердце сжимается. — Все врут. Ты врешь. Ты придёшь, заберёшь меня, а потом... потом... я не знаю что. Но будет больно. Всегда больно.

— Я Царица Ночи, — ответила Вальтера, и её голос стал твёрже, но не потерял теплоты. — У меня нет времени врать. И нет желания. Выходи.

Он смотрел на неё долго — так долго, что, казалось, прошла целая вечность. А потом, медленно, осторожно, как зверёк, который вылезает из норы после долгой зимы, не зная, что его ждёт снаружи, — вылез.

Маленький, грязный, с сломанной рукой, прижатой к груди. Его лохмотья были такими старыми, что рассыпались в пыль при каждом движении. Кожа на локтях и коленях была стёрта до крови — следы того, как он ползал по камням, боясь поднять голову. Волосы — когда-то золотые, а теперь серые от грязи и пыли — свисали сосульками, спутанными в колтуны.

Вальтера смотрела на него, и в груди её разрывалось что-то, что не болело тысячу лет. Что-то, что она считала мёртвым, похороненным, забытым. Что-то, что не должно было существовать в теле демоницы.

Она подхватила его на руки — он весил не больше котёнка, — закутала в свой плащ из чёрного шёлка, расшитый серебряными нитями, и понесла к выходу.

Кха-Дронг смотрел им вслед. Его глаза — выцветшие, янтарные — были полны того, что, возможно, когда-то было мудростью, а теперь стало только усталостью и печалью.

— Ты делаешь ошибку, — прогудел он, и в его голосе не было угрозы — только констатация факта. — Тьму нельзя переписать. Тьму нельзя исправить любовью. Тьму можно только заточить.

— Я уже сделала её пять лет назад, — ответила Вальтера, не оборачиваясь. Её голос был спокоен, как гладь застывшего озера. — Сейчас я её исправляю.

Она шагнула в ночь, где рассвет уже золотил вершины гор, превращая их в гигантские свечи, зажжённые в честь нового дня. Снег падал на её плечи, таял на тёплом плаще, стекал каплями на камень.

Мальчик на её руках не плакал. Он прижался к ледяной груди вампириши — впервые в жизни он чувствовал чужое тепло, настоящее, не обжигающее, не причиняющее боль, — и закрыл глаза. Его дыхание стало ровнее, глубже, и Вальтера поняла: он впервые за пять лет не боится. Он не знает, что его ждёт. Не знает, будет ли ему больно завтра. Но сейчас — сейчас он в безопасности.

— Меня зовут... — начал он и запнулся. У него не было имени. Только прозвища, которыми его наградили враги. Только пустота, где должно было быть слово, определяющее его в этом мире.

Вальтера посмотрела на золотую макушку, прижатую к её плечу, на спутанные волосы, на грязную кожу, на тонкую, почти прозрачную шею, где билась маленькая жилка.

— Золотой, — сказала она, пробуя это слово на вкус. — Мы будем звать тебя Золотым. Пока не придумаем лучше. Пока не узнаем, кто ты на самом деле.

Она спускалась с горы, а внизу, в Империи, её ждала новая война. Война с прошлым, с драконами, с собственной совестью. Но сейчас на руках у неё спал маленький золотой мальчик, смотревший на восходящее солнце впервые в жизни и не знавший, пугаться ему или радоваться. Не знавший, что такое солнце. Не знавший, что такое тепло без боли.

Впервые за пять лет он улыбнулся во сне.

Глава 4: Ктора и названный гость

Империя Дарада. Северное крыло дворца. Покои Кторы. Рассвет того же дня.

Ктора проснулась за мгновение до того, как мать переступила порог.

Это было не магическое чутьё — хотя и оно тоже, древнее, вампирское, отточенное тысячелетиями охоты в мирах, где каждый шорох мог означать смерть. Это было нечто более глубокое, более первобытное — связь, которая не разрывалась расстоянием, не ослабевала временем, не исчезала даже тогда, когда Ктора хотела забыть, что у неё есть мать.

Она ощутила присутствие Вальтеры за три покоя, ещё когда та только входила в Северное крыло. Лёгкое, едва уловимое покалывание под левой лопаткой, там, где у вампиров таится та самая древняя, первородная часть сознания, помнящая ещё времена стай и ночной охоты на равнинах, которых больше не существует. Покалывание это было знакомым — оно сопровождало её с детства, каждый раз, когда мать приближалась, даже если та не хотела, чтобы её заметили.

Ктора сидела в своём любимом, продавленном кресле у камина — единственном уголке во всём огромном дворце, где ей позволялось забыть о том, что она командующая силами Тени и Металла, Страж Границ, дочь императора и надежда династии. Здесь, в этом кресле, обитом тёмно-зелёным бархатом, который давно потёрся на подлокотниках, она позволяла себе быть просто собой. Уставшей женщиной, которая мечтает о тишине.

Кресло это было старым — старше, чем любая мебель в её покоях. Она привезла его из своего первого военного лагеря, когда ей было всего пятнадцать, и оно помнило её юность, её первые победы, её первые потери. В его подушках, если прижать ухо, всё ещё слышались отголоски тех далёких дней — смех молодых солдат, звон мечей, песни у костра.

Ноги в тёплых, шерстяных, связанных собственноручно чулках она забросила на резную, дубовую каминную решётку. Чулки эти были её тайной гордостью — одна из немногих вещей, которые она делала своими руками, не доверяя слугам. Шерсть была привезена с Севера, от племени Бронзового Медведя, и в ней, в каждой нитке, хранилось тепло тех мест.

В руке мерцал тёмным, кроваво-красным рубином тяжёлый бокал с терпким, выдержанным эльфийским вином. Оно пахло лесом, мёдом и тысячелетней мудростью — тем особым, терпким ароматом, который не спутаешь ни с каким другим. Вино было подарком Салатарии, её мачехи, которая, несмотря на все разногласия, никогда не забывала о дне рождения Кторы.

За высокими, стрельчатыми окнами, за толстым стеклом, в которое влили защитные руны ещё при постройке этого крыла, не умолкая ни на минуту, завывала снежная выюга. Она заметала дворцовый сад, превращая розовые кусты в причудливые белые сугробы, скрывая дорожки, стирая границы между реальностью и сном.

Ктора смотрела на этот снег и думала о том, что зима в этом году выдалась особенно суровой — даже для Севера, где она привыкла к холодам. Говорили, что старые нерпы-пророчицы на Севере предсказывали долгую зиму, самую долгую за последние сто лет. Говорили, что даже драконы, чья кровь была горячее расплавленной стали, начинали кутаться в шубы и жались к каминам. Говорили, что это плохой знак.

Северный Легион, её легион, стоял на зимних квартирах в нескольких днях пути отсюда. Ктора впервые за долгие месяцы позволила себе расслабиться, выпить лишний бокал и не думать о завтрашнем сражении. Легион был в надёжных руках — её заместитель, старый вояка по прозвищу Лис, знал своё дело и не нуждался в постоянном контроле. Она заслужила отдых. Она убеждала себя в этом каждую минуту, каждую секунду, каждое мгновение этой бесконечной ночи.

Но забыть не удалось.

Сперва возникло лишь лёгкое, почти незаметное покалывание под лопаткой — то самое, знакомое до боли. Ктора нахмурилась, пригубила вино — оно показалось горьким, хотя только что было сладким, — и попыталась отмахнуться от наваждения, списав его на усталость после долгой инспекционной поездки. Она весь месяц проверяла заставы на северной границе, ездила от одного форпоста к другому, спала по три-четыре часа в сутки. Её тело требовало отдыха. Её разум требовал тишины.

Но покалывание ширилось, росло, превращалось в настойчивую, тревожную пульсацию. В узнавание. *Мать*. Она всегда знала, когда мать рядом. Эта связь была проклятием и благословением одновременно — она не позволяла им отдалиться друг от друга, но и не давала забыть о том, что они никогда не были близки.

Ктора поставила бокал на столик из чёрного дерева — резной, с инкрустацией из слоновой кости, подарок отца на её трёхсотлетие, — так резко, что тёмно-рубиновая жидкость едва не расплескалась, оставив на полированной поверхности тёмное, винное пятно. Она выпрямилась в кресле, вытянувшись в струну — так вытягивается хищник, почуявший добычу, так напрягается струна перед тем, как лопнуть.

Плечи расправились, голова гордо поднялась. Стальная чешуя на её скулах, до этого тусклая, спокойная, начала мерцать — слабо, едва заметно, но достаточно, чтобы отражать свет камина, как чешуя рыбы, вынутой из воды.

Вампирская связь между нею и Вальтерой всегда была особенно крепка — сильнее, чем у прочих детей Царицы Ночи. Ибо она была единственной родной дочерью. Не приёмной, не названной, не удочерённой по ритуалу, а рождённой от плоти и крови — от той самой плоти, которая тысячу лет назад была человеческой, а стала демонической.

Дверь распахнулась без стука.

Вальтера вступила в горницу стремительно, решительно, жёстко — как входят на поле брани после проигранного сражения, когда уже нечего терять, кроме собственной жизни. Её плащ из чёрного шёлка развевался за спиной, как крылья ночной птицы, и на какое-то мгновение Кторе показалось, что мать сейчас взлетит, растворится в воздухе, исчезнет, как видение.

За нею, пятясь и шаркая, семенила перепуганная прислуга — две молодые девушки-эльфийки в белых передниках, с красными от недосыпа глазами и дрожащими руками. Они пытались что-то сказать, что-то доложить, но Вальтера едва заметно махнула рукой — *исчезните*, — и слуги растворились во мраке коридора быстрее, чем утренний туман над гладью озера.

Ктора приподняла бокал в насмешливом, но почтительном приветствии. Жест был старым — она видела его у отца, когда тот приветствовал важных гостей, — и она использовала его редко, только в особых случаях.

— Матушка, — голос её звучал ровно, с лёгкой хрипотцой, которая появлялась после долгих периодов молчания. — Не чаяла видеть тебя в такую рань. Отведаешь эльфийского вина? Говорят, оно возвращает молодость даже древним драконам. А тебе, матушка, оно явно не помешало бы — под глазами круги, как у покойницы.

— Не до вина, — отрезала Вальтера, и в её голосе прозвучала такая усталость, что Ктора сразу поняла: шутки неуместны. — Некогда.

И Ктора сразу уразумела всем своим вампирским нутром: стряслось нечто из ряда вон выходящее. Нечто, что заставило Царицу Ночи — женщину, не знавшую страха, — ворваться в покои дочери посреди ночи, без доклада, без предупреждения, без этикета.

Она перевела взгляд чуть ниже материнского лица и узрела.

На руках у Вальтеры, крепко прижавшись к её груди, сидел ребёнок.

Мальчик. Лет пяти — по таким крошечным, измождённым созданиям трудно определить возраст с точностью до года, когда каждое ребро можно пересчитать, а каждый позвонок прощупать сквозь тонкую, как папирусная бумага, кожу. Худ до прозрачности — такой худобы

Ктора не видела даже в самые голодные годы войны, когда люди умирали на улицах столицы, не дождавшись помощи.

Бледно-золотистая кожа обтягивала череп столь туго, что можно было пересчитать каждую косточку, каждое сочленение, каждый шов, где кости срастались. Глаза ввалились так глубоко, что, казалось, уходят в самую голову, и в этих впадинах клубилась тьма — не та, что бывает от недосыпа, а та, что появляется у тех, кто слишком долго смотрел в бездну.

На нём была одежда — если это можно было назвать одеждой. Грязные, истлевшие лохмотья, сквозь которые проступали острые, как у птицы, рёбра — двенадцать пар, каждая — как клавиша, на которой сыграли похоронный марш. Кожа на локтях и коленях была стёрта до блеска, до крови, до кости — следы того, как он ползал по камням, боясь поднять голову.

Одна рука безжизненно повисла вдоль тела плетью — распухшая, неестественно вывернутая, тёмно-синяя, почти чёрная. Пальцы на ней не шевелились — они застыли в том положении, в котором их оставила чужая жестокость, и каждый сустав был увеличен, как у старика, больного подагрой.

Ктора видела много смертей. Она видела, как умирают люди, эльфы, драконы, демоны, феи, существа, для которых даже названия не было в языках этого мира. Она видела, как кровь заливает поля, как крики умирающих заглушают звуки битвы, как глаза гаснут, как жизнь уходит.

Но такое она видела впервые.

Не рана, полученная в честном бою — не меч, не стрела, не коготь чудовища. Систематическое, методичное, ежедневное насилие над существом, которое не могло защитить себя даже криком. Истязание, растянутое на годы. Медленное убийство, которое не было убийством только потому, что палачи хотели, чтобы жертва продолжала страдать.

Но самое дивное, самое жуткое — его кожа.

Она отливала изнутри тёплым, живым, почти осязаемым золотом. Не тем тусклым, болезненным золотом, которое бывает у умирающих, а настоящим, живым, пульсирующим — словно внутри него, глубоко под слоями грязи и крови, горел маленький огонь, который не могли погасить ни голод, ни боль, ни годы ада.

И глаза.

Огромные, чёрные, словно два провала в беззвёздную, бесконечную ночь. Две бездны, в коих, чудилось, клубилась сама Первородная Тьма — та, что существовала до рождения богов, та, что ждала в пустоте, та, что была голодна. В этих глазах не было страха — была только пустота. Пустота существа, которое уже перестало надеяться, перестало ждать, перестало верить.

И в этой пустоте Ктора увидела своё отражение. Искажённое. Умирающее. Чужое.

Сердце её — вампирское, древнее, не знавшее страха тысячу лет — пропустило удар.

Ктора смотрела в эти бездонные очи, и впервые за двадцать семь лет ей стало по-настоящему, до костей, жутко.

— Мать, — вымолвила она медленно, с превеликой осторожностью ставя бокал на столик. Стекло звякнуло о дерево, и этот звук показался ей оглушительным в тишине комнаты. — Что это?

— Не *что*, а *кто*, — поправила Вальтера, и в её голосе прозвучала такая усталость, что Ктора, зная мать как негибаемую скалу, почувствовала, как внутри неё что-то дрогнуло. — Имя ему... у него нет имени. Никто не дал. Никто не спросил. Никто не задумался.

Ктора приблизилась. Вгляделась. Синяки. Старые, уже желтеющие, с зелёными краями — такие бывают через неделю после удара. И свежие, багрово-чёрные, с фиолетовыми разводами — такие бывают, когда кровь ещё не успела свернуться, а боль — утихнуть. Следы от тяжёлых, грубых побоев — не случайных, а выверенных, рассчитанных, таких, чтобы причинить максимум боли, не убивая.

Ссадины, царапины от драконьих когтей — глубокие, они уже начали заживать, но края их почернели, и от них пахло гнилью. В раны попала инфекция, и Ктора знала: если их не обработать, они будут гноиться, пока не начнётся заражение крови.

И взгляд — взгляд затравленного, загнанного в угол зверька, который уже не ждёт пощады. Который знает, что любая протянутая рука может оказаться ловушкой. Который сжимается в комок при малейшем движении, потому что каждое движение в его мире означало удар.

— Где ты взяла его? — голос Кторы упал до хриплого шёпота, и она сама не узнала свой голос. Слишком много эмоций, слишком много боли, слишком много того, что она не позволяла себе годами. — Мать, скажи мне. Где?

— В горах Кха-Дронг, — ответила Вальтера, и каждое слово давалось ей с трудом. Её голос дрожал — так дрожит струна, когда натяжение становится невыносимым. — У золотых драконов. Он жил там в одиночестве пять лет.

— Пять лет? — Ктора не верила своим ушам. — Это невозможно! Золотые драконы не держат у себя чужих детей. Они убивают их при рождении. Это их обычай, их закон, их природа!

— Они не держали его. Они... — Вальтера замолчала, сжала губы так сильно, что они побелели. Её лицо — всегда бесстрастное, всегда спокойное — исказилось гримасой, которую Ктора никогда не видела. — Они глумились над ним. Систематически. Методично. Со знанием дела. Каждый день, каждый час, каждую минуту этого ада. Избивали, морили голодом, держали в тесной расщелине между камнями, где он не мог даже выпрямиться. А я знала об этом пять лет и не предпринимала ничего. Я думала, что так будет лучше. Я думала, что спасаю Империю. Я думала, что приношу малую жертву ради великой цели.

Ктора смотрела на мать и не узнавала её.

Вальтера никогда не ошибалась. Вальтера всегда знала, как должно поступить. Вальтера была твердыней, утёсом, несгибаемой волей, которая не поддавалась даже древней магии. Её решения были окончательными и не подлежали обсуждению. Её суждения — точными и безжалостными. Её действия — выверенными и неумолимыми.

Ныне же перед нею, на коленях у потухающего камина — огонь уже почти погас, остались только угли, тлеющие багровым, — сидела пожилая, смертельно уставшая женщина с потерянным ребёнком на руках. И в её алых глазах плескалась такая бездонная, горькая вина, что Кторе захотелось отвернуться к окну, чтобы не видеть, чтобы не чувствовать, чтобы не понимать.

— Мать, — тихо молвила Ктора, и её голос — обычно грубый, прокуренный — сейчас звучал мягко, как не звучал никогда. — Объясни мне. Кто он такой? Чей он сын? Откуда взялся этот золотой мальчик с глазами тьмы?

Вальтера подняла на дочь влажные, покрасневшие глаза — покрасневшие от слёз, которых не пролила, но которые душили её изнутри.

— Сын Аталар, — выдохнула она, и это имя — запретное, проклятое — прозвучало в тишине комнаты, как удар погребального колокола.

Тишина воцарилась в горнице столь плотная, что её можно было трогать руками.

Даже угли в камине, казалось, замерли, перестали потрескивать. Даже ветер за окном стих, словно прислушиваясь. Даже тени на стенах застыли, не смея шелохнуться.

— У Аталар не может быть детей, — выдохнула Ктора, чувствуя, как её собственный голос становится чужим, далёким. — Она в узилище двадцать лет! Её заточили в каменный мешок, где даже крысы не живут! Её кормили через щель в двери, и ни один самец не переступал порог её камеры!

— Она разрешилась от бремени сама, без повитух, без помощи, без магии, — перебила Вальтера, и в её голосе прозвучала странная, пугающая убеждённость. — Вынашивала его двадцать лет. Питала осколком Чёрного Рубина — тем самым, который когда-то должен был

открыть Врата. Тьма не исчезла, Ктора. Она лишь ждала своего часа. И избрала новое вместилище — дитя, рождённое от ненависти, взращённое на боли, закалённое в страдании.

Мальчик, сидящий рядом с Вальтерой на ковре, вздрогнул всем телом — так, что его лохмотья зашелестели, а грязь посыпалась с них мелкой пылью. Его чёрные глаза метнулись к лицу Кторы — быстро, как у зверька, который оценивает, насколько опасен новый хищник.

— Он понимает, о чем мы говорим? — шёпотом спросила Ктора.

— Он понимает всё, абсолютно всё, — ответила Вальтера, и в её голосе прозвучало странное, почти благоговейное уважение. — Но не говорит вслух. Почти никогда. Он научился молчать. В горах Кха-Дронг те, кто говорил, умирали первыми.

Ктора медленно, плавно, стараясь не делать резких движений, опустилась на корточки прямо перед мальчиком. Её колени хрустнули — она не привыкла к таким позам, её тело было создано для битвы, для движения, для прямых, резких действий, а не для этой медленной, осторожной охоты на доверие.

Она была огромна рядом с ним — под два метра ростом, в грубой воинской одежде, с мечом на поясе, с лицом, изрезанным шрамами, с глазами, которые, как говорили, могли заставить плакать даже демонов. Она знала, какой предстаёт со стороны для такого маленького, беззащитного создания — чудовищем, монстром, убийцей. Знала, что большинство детей шарахаются от неё в страхе, забиваются в углы, прячутся за спины матерей.

Но этот странный, золотой, сломленный малец не шарахнулся. Он взирал на неё своими чёрными провалами и ждал. Ждал удара. Это было в его позе, в напряжённых плечах, в том, как его единственная здоровая рука сжалась в кулак, готовая защищаться — или хотя бы смягчить удар. Он не надеялся на пощаду. Он просто готовился к худшему.

— Эй, — молвила Ктора, и её прокуренный, низкий голос, обычно звучавший как команда на плацу, прозвучал на удивление мягко. Она сказала это так, как говорят с пойманными птицами, когда хотят, чтобы они не боялись. — Ты как сам? Устал?

Мальчик медленно моргнул.

Казалось, этот простой вопрос застал его врасплох — никто никогда не спрашивал его, как он. Никто никогда не интересовался его чувствами, его мыслями, его состоянием. Его существование было фактом, который принимали как данность, но не более того.

— Больно? — Ктора кивнула на его сломанную руку, на распухшие пальцы, на неестественный изгиб запястья.

Мальчик перевёл взгляд на свою покалеченную конечность, словно впервые увидел её со стороны. В его чёрных глазах мелькнуло что-то, похожее на удивление — будто он не понимал, о какой боли говорит эта странная женщина. Боль была его постоянным спутником, его тенью, его дыханием. Он не помнил времени, когда бы не болело.

Затем он вновь поднял очи на Ктору.

И медленно кивнул.

— Сейчас мы позовём искусного лекаря, самого лучшего в Империи, — пообещала Ктора, и её голос стал твёрже — так твёрдо говорят, когда дают клятву, которую нельзя нарушить. — Того, кто лечил моего отца после того, как его чуть не убила Аталар. Того, кто вернул к жизни воинов, которых считали мёртвыми. Он тебя быстро исцелит.

— Врёшь, — беззвучно, одними губами, прошептал мальчик.

Одно-единственное слово, произнесённое с такой горькой, выстраданной убеждёностью, что у Кторы внутри всё перевернулось. В этом шёпоте не было злобы — только усталость. Усталость существа, которое слышало обещания, которые никогда не исполнялись, и перестало в них верить. Которому говорили «завтра будет лучше» — и завтра наступал тот же ад. Которому обещали помощь — и помощь не приходила.

— Я не вру, никогда и никому, — отчеканила Ктора. — Меня зовут Ктора. Я — дочь этой женщины — она кивнула на Вальтеру, — и родная дочь императора Дарада. Я командую

Северным Легионом — это самая большая армия на всём континенте. И я никогда в жизни не лгу детям. Это ниже моего достоинства.

Мальчик смотрел на неё долго, очень долго.

Секунды тянулись, как часы, как дни, как годы. В комнате было слышно только потрескивание углей в камине — они догорали, рассыпались в пепел, и этот пепел падал на каменный пол, как мёртвый снег. И далёкий, едва слышный шум ветра за окном — жалобный, тоскливый, одинокий.

И вдруг в глубине его чёрных глаз — в той самой бездне, где клубилась Первородная Тьма, — мелькнуло нечто, похожее на любопытство. Искра. Маленькая, слабая, едва теплящаяся, но живая. Искра, которую не смогли погасить ни голод, ни боль, ни годы ада.

— Красивая, — неожиданно вымолвил он, и его голос — тихий, надтреснутый — прозвучал, как первый звук после долгого молчания. — Ты похожа на ночь. На самую тёмную, глубокую ночь, когда даже звёзды не светят, потому что устали. Но не холодную... тёплую. Внутри. Я вижу.

Ктора открыла рот и закрыла.

Не нашла слов.

Всю свою жизнь — шестьсот лет — она сражалась. Сражалась с врагами Империи, с врагами семьи, с врагами, которых даже не знала. Она получала раны, теряла друзей, хоронила солдат, которых вела в бой. Она была командующей, стратегом, убийцей. Но никто — никогда — не называл её красивой. Никто — никогда — не говорил, что она похожа на ночь. И уж тем более — что она тёплая внутри.

— Он видит саму суть вещей, — тихо, почти зачарованно промолвила Вальтера. Её голос был тихим, как шёпот листьев, и в нём слышалась древняя, выстраданная мудрость. — Тьма в нём позволяет ему видеть сокровище от глаз обычных людей. Не магию — суть. Не внешность — душу. Он увидел в тебе то, что ты прячешь от всех. Доброту.

Ктора вновь пристально воззрилась на странного мальчика. Золотой, жуткий, чужой — он был воплощением всего, чего она боялась. Но внутри него, там, где клубилась древняя тьма, билось что-то живое, настоящее. Нечто, умеющее видеть прекрасное даже в израненной солдатке. Нечто, что не сломали годы пыток.

— Как звать-то тебя? — спросила Ктора, и её голос — обычно грубый, прокуренный — дрогнул. Впервые за шестьсот лет.

Мальчик медленно покачал головой. Его длинные, золотистые ресницы — единственное, что осталось чистым на его лице, — дрогнули.

— У меня нет имени, — сказал он, и в его голосе не было горечи — только констатация факта. — Никто не дал. Я — никто. Пустота. Тень.

Ктора перевела взгляд на мать.

Вальтера коротко кивнула — едва заметно, одними глазами. В этом кивке было столько боли, столько вины, столько того, что она не могла выразить словами, что Ктора почувствовала, как к горлу подступает комок.

— Значит, мы дадим тебе имя, — решительно изрекла Ктора.

Она поднялась, подошла к столу — к тому самому, где оставила бокал с вином. Налила в чистый бокал — из графина, который стоял на подносе, накрытом вышитой салфеткой. Вино было тёмно-рубиновым, почти чёрным, и в свете камина оно казалось кровью.

— На, выпей, — протянула она бокал Вальтере, которая всё ещё сидела на полу, прижимая к себе ребёнка. — Ты зелёная даже по нашим, вампирским меркам.

Вальтера приняла бокал дрожащей рукой — рукой, которая держала меч, которая подписывала смертные приговоры, которая правила Империей, — но не пригубила. Она неотрывно смотрела на золотого мальчика, словно боялась, что он исчезнет, растворится в воздухе, как видение, как сон, как надежда, которая приходит только для того, чтобы разбиться.

— Я не ведаю, что делать, Ктора, — устало произнесла она. — Как вырастить его? Как не дать Тьме в его душе возобладать над светом? Как научить его доверять, когда весь мир учил его бояться?

— Мать, — тихо, но твёрдо перебила Ктора. Она опустилась на корточки перед Вальтерой, взяла её за руку — холодную, дрожащую, с идеальным маникюром, который не могли испортить никакие битвы. — Ты привела его сюда. Ты вызволила его из лап драконов. Ты уже сделала первый, самый трудный шаг. Остальное сделаем мы — все вместе.

Она перевела взор на Золотого, который сидел на ковре у догорающего камина и тянул исхудавшую ручонку прямо к живым языкам пламени — впервые ощущая настоящее тепло, не то, которое даёт боль, а то, которое даёт жизнь.

— Всему остальному научимся в процессе. Мы же члены одной семьи. — Она усмехнулась — той особенной, редкой усмешкой, которая появлялась на её лице только в моменты истинной близости. — У нас всегда получалось даже из дерьма леденцы ваять.

Вальтера слабо улыбнулась — впервые за весь этот долгий, полный откровений вечер. Улыбка была едва заметной, только уголки губ дрогнули, но в этой улыбке было столько всего — и надежда, и благодарность, и страх, и любовь.

— Шарит был совсем иным, — возразила она, и в её голосе прозвучала та особенная, материнская нота, которую Ктора слышала только когда речь заходила о её младшем брате. — Он хотя бы знал, кто он. Знал свою мать. Знал свой народ. Знал, что его ждёт.

— Все дети разные. — Ктора повела плечом. — Этот на вид — сплошное золото. Так и будем звать его пока — Золотой.

Мальчик немедленно обернулся на это слово. Его чёрные очи взирали на Ктору с такой отчаянной, всепоглощающей надеждой — как у слепого, который впервые видит свет, — что Ктора поспешила отвернуться к огню.

— Золотой, — повторил мальчик, пробуя имя на вкус, перекатывая его на языке, как драгоценность, которую нашли в грязи. — Я Золотой?

— Пока да. — Ктора не смотрела на него — боялась, что её глаза выдадут то, что она чувствует. — А там, со временем, сам увидишь. Возможно, когда подрастёшь — сам выберешь себе имя по душе. Настоящее.

Ктора осушила бокал единым глотком — вино обожгло горло, разлило тепло по груди, — и перевела взгляд на мать.

— Отцу сегодня расскажешь? — спросила она, и в её голосе прозвучала та особенная, осторожная нота, которую она использовала, когда речь заходила о семейных тайнах.

Вальтера устало покачала головой. Её лицо, прекрасное и бледное, в свете камина казалось высеченным из мрамора — древнего, потрескавшегося, но всё ещё прекрасного.

— Не сейчас. — Её голос был тихим, как шёпот листьев. — Не знаю, как подступиться. Как сказать ему: «Дорогой, помнишь Аталар, ту самую, что чуть не уничтожила Империю? Так вот, у неё есть сын, и я пять лет прятала его у драконов, которые его истязали». Как?

— Трусиха, — беззлобно усмехнулась Ктора.

— На моём месте и ты бы струсила, — парировала Вальтера, и в её голосе впервые за этот вечер прозвучало нечто, похожее на прежнюю силу.

Ктора лишь фыркнула и вновь перевела взгляд на Золотого, который всё ещё тянул свои худые пальцы к живому огню — осторожно, неуверенно, как будто боялся, что пламя обожжёт.

А оно не обжигало. Оно ласкало. Оно согревало.

— Мать, — твёрдо молвила Ктора, и в её голосе прозвучала та сталь, которую боялись враги и уважали друзья. — Ты поступила правильно. Вызволила его. Не оставила на съедение драконам. Не дала умереть. Это самое главное. А всё остальное — приложится.

В камине громко лопнуло полено — последнее, почти догоревшее, — выбросив вверх сноп золотых искр. Они взметнулись к потолку, осветив затемнённые углы горницы и застыв-

шие в них причудливые тени, и на мгновение показалось, что комната наполнилась светом — настоящим, живым, теплым.

Мальчик внезапно засмеялся.

Звонко, удивлённо, радостно — как смеются дети, увидевшие чудо. Впервые за пять лет он издал этот чистый, счастливый звук, и в этом смехе не было ни боли, ни страха, ни отчаяния — только жизнь.

Вальтера и Ктора переглянулись.

В глазах обеих стояли слёзы.

— Лекаря, — первой нарушила молчание Ктора, поднимаясь с кресла. Её движения были резкими, рублеными — она не привыкла к бездействию, к ожиданию, к тишине. — Немедленно позвать самого искусного лекаря. Из Академии Магии, того, кто лечил отца. И горячее омовение — пусть приготовят ванну с травами, с мёдом, с молоком. И мягкой, сытной еды — бульон, кашу, хлеб, только не пересоленные, не переперченные, такие, чтобы больной желудок принял. И новую, тёплую одежду — шерстяную, мягкую, без украшений, чтобы не натирала кожу.

— И имя, — негромко добавила Вальтера. В её голосе прозвучала надежда — робкая, как первый подснежник после долгой зимы.

— Имя подождёт. — Ктора покачала головой. — Сперва — его больная рука. Потом — здоровое тело. И только после этого — красивое имя. Порядок должен быть. Как в армии.

Ктора замерла на пороге и медленно обернулась.

В свете камина — последние угли догорали, рассыпаясь в пепел — её лицо казалось высеченным из камня, но в глазах горел огонь. Не тот, что сжигает — тот, что согревает.

— Мать. Помни: ты не одна в этом деле. Никогда не была одна. — Её голос был твёрдым, как сталь, и в этой твердости было обещание. — Я с тобой. И Шарит с тобой. И отец — когда узнает — тоже будет с тобой. Мы семья. А семья не бросает своих.

И она бесшумно выскользнула за дверь, растворилась в темноте коридора, как призрак.

Вальтера долго смотрела на затворившуюся дверь и чувствовала, как огромный камень, давивший на душу пять лет, медленно сползает с плеч. Не исчезает — не может исчезнуть после одного разговора, — но становится легче. Терпимее. Живее.

Мальчик повернул к ней своё бледное, измождённое личико. В его чёрных глазах, в этой бездне, которая ещё недавно была пустой, теперь мерцали искры — отражение камина, отражение надежды, отражение жизни.

— Она добрая, — сказал он, и его голос — тихий, надтреснутый — прозвучал твёрже, чем прежде. — Тёплая. Как ты и говорила. Я чувствую.

— Да, — отозвалась Вальтера, и в её голосе впервые за много лет прозвучала гордость. — Она моя дочь. Моя гордость. Мой лучший командир. Моё сердце.

— А я? — помолчав, спросил мальчик. Его чёрные глаза смотрели на неё с той особенной, детской серьёзностью, которая бывает только у тех, кто слишком рано понял, что такое жизнь и смерть. — Я теперь тоже твой? Тоже часть семьи?

Вальтера задумалась лишь на одно мгновение.

Она вспомнила ту ночь — холодную, тёмную, когда держала на руках этого же ребёнка, когда выносила его из камеры Аталар, когда чувствовала, как маленькое золотое тельце прижимается к её груди, ища тепло, которого у неё не было. Вспомнила, как поклялась себе, что больше никогда не увидит его. Вспомнила, как нарушила эту клятву.

Потом твёрдо кивнула.

— Да. — Её голос был тихим, но в этой тишине он звучал как клятва. — Ты теперь мой сын. Самый младший, самый дорогой, самый... неожиданный.

Мальчик улыбнулся.

Впервые за пять лет, проведённых в аду — в каменной клетке, среди драконов, которые считали его отродьем, среди боли, которая стала его единственным спутником, — он улыбнулся. Его чёрные глаза стали чуточку светлее, теплее. Или Вальтере лишь так показалось?

Потому что в глубине, там, куда не достигал свет камина, в самой бездне его зрачков, что-то шевельнулось. Что-то древнее, голодное, терпеливое. Что-то, что ждало своего часа.

Но сейчас — только сейчас — оно спало.

И Вальтера позволила себе поверить, что так будет всегда.

Глава 5: Исповедь Царицы Ночи

Императорский дворец. Покои Дарада. Та же ночь.

Дарад не спал.

Слишком много мыслей, тяжёлых и липких, как смола, которая сочится из расщелин в горах Кха-Дронг, роилось в его голове. Золотой мальчик — его новый, не по крови, но по ритуалу сын. Ритуал крови, проведённый второпях, без должных приготовлений, без священных песнопений, без той торжественности, которая полагалась в таких случаях. Аталар, чья тень всё ещё нависала над семьёй — даже спустя двадцать лет, даже после её заточения, даже после её смерти — её призрак всё ещё бродил по коридорам дворца, как живое напоминание о том, что зло не умирает, оно только ждёт. И Тьма — древняя, довременная, та, что клубилась в глазах ребёнка, — та самая Тьма, которую он надеялся запечатать навсегда.

Он лежал на широкой кровати под балдахином из тёмно-синего бархата, расшитого золотыми драконами — теми самыми, что вышивала его мать, когда была жива, вкладывая в каждую нить частицу своей души. Балдахин был старым — он помнил ещё его отца, и деда, и прадеда, уходящих в такую глубь веков, что даже эльфы не помнили их имён. В его складках, если прислушаться, всё ещё шептали голоса предков — поучали, предупреждали, проклинали.

Он чувствовал тревогу жены задолго до того, как она переступила порог спальни. Эта связь, тонкая, неразрывная нить, соединяющая их души после многих лет брака, была крепче любой магии. Она не зависела от расстояния, не слабела со временем, не исчезала даже тогда, когда он хотел забыть — она просто была, как биение сердца, как дыхание, как сам факт существования.

Вальтера вошла бесшумно, как тень.

Её плащ из чёрного шёлка — тот самый, расшитый серебряными нитями, который она надевала только в особых случаях, — волочился по каменному полу, издавая едва слышный шелест, похожий на шёпот. Её лицо было бледнее обычного, с синеватыми тенями под глазами — такими глубокими, что казались выжженными, и с гримасой боли, которую она не могла скрыть даже за тысячелетней маской спокойствия.

— Нам нужно поговорить, — с порога произнесла она, и этот тон — тон, которым отдают приказы перед решающей битвой, тон, в котором нет места сомнениям и возражениям, — Дарад узнал мгновенно. Он слышал его впервые двадцать лет назад, когда Аталар шла на столицу, и запомнил навсегда.

— Я слушаю, — ответил он, откладывая книгу — древний фолиант по драконьей магии, который читал уже в сотый раз, пытаясь найти ответы, которых не существовало.

Он сел на кровати, опираясь спиной на резное изголовье, и его лицо — усталое, измождённое, с глубокими морщинами, которых не должно было быть на лице дракона, — было обращено к ней. В свете единственной свечи, горевшей на прикроватном столике, его золотая чешуя отливала медью, как старая монета, которую долго держали в руках.

— Пять лет назад я совершила ошибку, — начала Вальтера, и её голос — обычно холодный, властный — дрогнул. — Огромную, непростительную. И до сих пор не знаю, смогу ли её исправить, смогу ли искупить, смогу ли когда-нибудь простить себя.

— Ты говоришь о мальчике? — Дарад не спрашивал — он знал. Он чувствовал эту тяжесть на её плечах все пять лет, хотя не знал её причины. Чувствовал, как она отдаляется, как замыкается в себе, как тает под грузом невысказанной тайны.

— Да. О Золотом. О сыне Аталар. — Она произнесла это имя — запретное, проклятое, — и в комнате, казалось, похолодало на несколько градусов.

Она повернулась к мужу. Её алые глаза, которые обычно были холодными, как лёд, сейчас блестели от слёз — слёз, которые она не позволяла себе тысячу лет. Они стояли на ресницах, дрожали, но не падали — словно даже её тело не решалось выпустить эту слабость наружу.

— Я тогда, после того как приняла его из рук умирающей матери, должна была сказать тебе сразу. В ту же ночь. — Её голос срывался, становился тише, почти шёпотом, как у человека, который исповедуется на смертном одре. — Не откладывать, не думать, не сомневаться. Но я струсил. Я — Царица Ночи, правительница Империи, женщина, чьё имя заставляет трепетать целые армии, — я испугалась сказать правду мужу.

Дарад молчал.

Он знал эту женщину тысячу лет. Знал её мудрость и её глупость, её силу и её слабость, её любовь и её ненависть. Знал, что она никогда не ошибалась — или, по крайней мере, никогда не признавала ошибок. И то, что она сейчас стояла перед ним, ломающаяся, плачущая, признающая свою вину, — это было больше, чем любое признание. Это было откровение.

— Я решила, что будет лучше спрятать угрозу подальше, — продолжила Вальтера, и её голос стал твёрже, но в этой твердости чувствовалась боль. — Что если я отправлю его к золотым драконам, в горы Кха-Дронг, к тем, кто помнит древние обычаи и знает, как обращаться с древней магией, то они найдут способ обуздать Тьму в его крови. Я думала, что поступаю мудро. Я думала, что выбираю меньшее из зол. Я думала, что смогу защитить свою семью, свою Империю, свой народ.

Она замолчала, с силой сжимая пальцы — так, что ногти впились в ладони, и из ран выступила чёрная, дымящаяся кровь.

— А они... — Её голос сорвался, и она замолчала, не в силах продолжать.

— А они что? — тихо спросил Дарад. Он встал с кровати — медленно, тяжело, как человек, который несёт на плечах не только свою жизнь, но и жизни тысяч других, — и подошёл к ней. Его шаги были бесшумными — драконья грация не покидала его даже в старости.

— А они превратили его в живое воплощение ада. — Слова вырывались из неё с трудом, как камни из разваливающейся стены. — Пять лет ребёнка систематически, со спокойной методичной жестокостью превращали в зверя. Били, морили голодом, держали в каменной щели, где он не мог даже выпрямиться. Ломали ему руки — и даже не лечили, не вправляли кости, не давали обезболивающего. Просто бросали и уходили, оставляя его одного с болью.

Дарад медленно поднялся. Его лицо было спокойным — слишком спокойным. Но в глазах, золотых, с вертикальными зрачками, полыхало пламя — не то, что согревает, а то, что сжигает. Пламя древней, первобытной ярости, которую он сдерживал двадцать лет.

— Ты забрала его оттуда? — спросил он, и его голос был тихим — слишком тихим. Так говорят перед тем, как убить.

— Забрала. — Вальтера подняла голову, и в её глазах — красных, заплаканных — снова зажглась искра прежней силы. — Сегодня. С отрядом. Силой. Я вошла в их логово, прошла мимо их стражи, мимо их патриарха, и забрала то, что принадлежало мне по праву — потому что я оставила его там, и только я имела право забрать его обратно.

Дарад шагнул к ней и, не говоря ни слова, взял её за руку. Её ледяные пальцы — такие холодные, что, казалось, никогда не знали тепла, — сжались в ответ. Дрожь пробежала по их рукам — не от холода, от напряжения, от того, что оба боялись следующего слова.

— Ты поступила правильно, — сказал он, и его голос был тёплым — таким тёплым, каким не был двадцать лет. — В тот раз — пять лет назад — ты ошиблась. Ты приняла неверное решение. Ты поддалась страху. Но сегодня ты всё исправила. Ты поступила как мать. Как правительница. Как человек.

— Можно ли исправить пять лет ада в душе ребёнка? — горько усмехнулась Вальтера, и в этой усмешке было столько боли, сколько она не позволяла себе тысячу лет. — Можно ли вытравить из его памяти запах страха, который вьёлся в кожу? Можно ли заставить забыть

боль, которую причиняли каждый день? Можно ли научить его доверять, когда весь мир учил его бояться?

— Мы попробуем, — просто ответил он. — Вместе. Всей семьёй. Не ты одна — мы все. Я, Ктора, Шарит, Ильдара, даже маленькая Лилия. Все, кто сможет дать ему тепло, дадут. Все, кто сможет защитить, защитят. Все, кто сможет полюбить, полюбят.

Они вышли из покоев и пошли по коридору — молча, держась за руки, как молодожёны, которые только начинают свой путь. Свечи в стенных бра трепетали, отбрасывая длинные тени, и в этих тенях, казалось, шевелились призраки прошлого — Аталар, Салатария, Далар, все, кого они потеряли и не смогли вернуть.

Покои Кторы. Та же ночь.

Когда дверь открылась, мальчик вздрогнул всем телом — так, что его лохмотья зашестели, а грязь посыпалась с них мелкой пылью. Его чёрные глаза — бездонные, пустые — уставились на вошедшего высокого незнакомца с таким животным ужасом, что у Дарада перехватило дыхание.

Он видел этот взгляд раньше — на поле боя, у умирающих солдат, которые понимали, что смерть близка. Взгляд существа, которое уже не надеется на спасение, которое смирилось с неизбежным и только ждёт последнего удара.

— Тихо, — мягко произнесла Вальтера, и её голос — обычно холодный, властный — сейчас звучал так мягко, как звучат только матери, успокаивая испуганных детей. — Это Дарад. Мой муж. Император. Он не сделает тебе больно — клянусь своей кровью, своим тронem, своей жизнью. Он пришёл не бить — он пришёл познакомиться.

Дарад медленно, очень медленно опустился на корточки перед мальчиком.

Раньше, когда он был моложе и сильнее, он делал это легко, без усилий — его драконья кровь не знала усталости. Сейчас каждое движение давалось с трудом: колени хрустнули, спина заныла, в пояснице стрельнуло. Но он не показал этого — только улыбнулся той спокойной, мудрой улыбкой, которая когда-то растопила сердце даже Вльтеры.

— Здравствуй, — сказал он, и его голос был тихим, тёплым, как летний ветер. — Я слышал, ты любишь сладкое.

Золотой не ответил. Только его глаза на мгновение метнулись к блюду с фруктами, которое стояло на столе — к румяным яблокам, золотистым грушам, гроздьям винограда, которые переливались в свете свечей, как драгоценности. Глаза его задержались на них на секунду — не больше, — и он тут же отвернулся, словно боялся, что его накажут за жадность.

Дарад улыбнулся — той спокойной, мудрой улыбкой, которая когда-то растопила сердце даже Вльтеры, которая заставляла врагов сдаваться без боя, а друзей — верить в победу.

— Я тоже. — Его голос был тихим, почти шёпотом, как будто он делился секретом. — Особенно вот эти, розовые. Их привозят с юга, из-за Великой Пустыни, где солнце такое жаркое, что фрукты впитывают весь его свет. Говорят, тот, кто съест такой персик, увидит во сне океан. Хочешь попробовать?

Он извлёк из кармана настоящий персик — крупный, ароматный, золотисто-розовый, с бархатистой кожицей, покрытой капельками росы. От него пахло мёдом, солнцем и чем-то ещё — тем особенным, южным ароматом, который не с чем спутать.

Золотой смотрел на персик как на чудо.

Как на маленькое, рукотворное солнце, упавшее с неба прямо в ладонь этого незнакомца, но почему-то не пугающего человека. В его чёрных глазах, в этой бездне, где ещё недавно клубилась только тьма, зажглась искра — маленькая, слабая, но живая.

— Можно? — спросил он, обращаясь к Вльтере, даже не взглянув на Дарада. Его голос был хриплым — он не привык просить. Он привык брать тайком, когда никто не видит, и прятаться в своей щели, чтобы съесть украденное, пока не отняли.

— Можно, — ответила Вальтера, и в её голосе впервые за этот вечер прозвучало что-то, похожее на радость.

Дарад протянул персик.

Мальчик принял его дрожащими пальцами — здоровой рукой, потому что сломанная безжизненно висела вдоль тела, — и поднёс к носу. Вдохнул — глубоко, жадно, как человек, который впервые в жизни чувствует запах, не связанный с болью. Запах, который не предвещает удара, не напоминает о голоде, не вызывает ужас.

И на короткое, невероятное мгновение его чёрные глаза полыхнули ослепительным золотом — так ярко, что свечи в комнате померкли, а тени на стенах заматались, как испуганные птицы.

Ктора присвистнула — долгим, низким звуком, который она издавала только в минуты истинного удивления. Вальтера замерла, боясь дышать, боясь пошевелиться, боясь, что это видение исчезнет.

— Золотая кровь, — тихо промолвил Дарад, и в его голосе прозвучало не удивление — узнавание. — Совсем чуть-чуть. Капля. Искра. Но она есть. Драконья искра в его жилах. Она спала всё это время, но не умерла.

Мальчик испуганно уставился на свои руки — на золотые пальцы, на тонкие запястья, на просвечивающие сквозь кожу вены, в которых, казалось, что-то засветилось изнутри.

— Не бойся, — мягко сказал Дарад, и его голос был таким тёплым, что, казалось, мог растопить лёд. — Это не болезнь, не проклятие, не знак Тьмы. Это просто частица твоей природы. Частица того, кто ты есть на самом деле. Это прекрасно.

— Прекрасно? — недоверчиво переспросил Золотой, и в его голосе прозвучало столько сомнения, сколько бывает у тех, кто никогда не слышал о себе ничего, кроме ненависти.

— Прекрасно. — Дарад кивнул, и его улыбка стала шире. — Это означает, что ты можешь греться у костра и не чувствовать холода. И любить сладости так сильно, как никто другой. И видеть сны — такие яркие, что они запоминаются на всю жизнь. И летать во сне — высоко, под облаками, где нет ни боли, ни страха.

Мальчик посмотрел на персик, потом на Дарада.

— Ты убьёшь меня? — вдруг спросил он.

В его голосе не было ни вызова, ни страха, ни надежды. Только холодное ожидание неизбежного — как у человека, который уже столько раз слышал «я тебя не трону», а затем получал удар в спину, что перестал верить словам. Только констатация факта: всё, что живёт, когда-нибудь умрёт. И лучше знать когда.

— Нет, — сказал Дарад, и в его голосе зазвучала сталь — та самая, которая не гнётся и не ломается. — Никто тебя не убьёт. Никогда. Я клянусь своей кровью, своим троном, своим именем. Клянусь всеми богами, которых знаю, и теми, которых не знаю. Ты в безопасности. Здесь, в этом дворце, в этой семье — ты в безопасности.

— Даже если я злой? — Чёрные глаза мальчика не отрывались от лица Дарада, впитывая каждую морщинку, каждое движение губ, каждый вздох. — Даже если во мне Тьма? Та самая, что все боятся? Что заставляет драконов дрожать и эльфов молиться?

— Ты не злой. — Дарад покачал головой, и его золотые волосы — когда-то огненно-рыжие, а теперь почти белые — скользнули по плечам. — Ты просто маленький и очень напуганный. А Тьма есть в каждом из нас. Вопрос не в том, есть она или нет. Вопрос в том, кто кого победит — ты её или она тебя. И ты победишь. Я в тебя верю.

— Моя мать была злая. — Голос мальчика дрогнул — впервые за этот разговор. — Мне говорили. Каждый день. Каждый час. Каждую минуту. «Ты — выродок, порождение Тьмы, отродье Аталар». Я даже не знаю, кто она, эта Аталар. Но я знаю, что её ненавидят. И меня ненавидят за то, что я её сын.

Дарад протянул руку и осторожно коснулся его золотой щеки — боясь, что мальчик отшатнётся, отпрянет, закричит.

Но он не отшатнулся. Только замер, прикрыл глаза, и в его лице, в этом застывшем, напряжённом лице, было столько тоски по прикосновению, что у Дарада сжалось сердце.

— Твоя мать совершала злые поступки, — тихо сказал он. — Это правда. Много злых поступков. Она хотела уничтожить Империю, убить мою семью, открыть Врата и впустить Тьму. Но ты — это не она. Ты — это только ты. И только ты сам можешь решить, кем тебе быть. Не кровь определяет человека — выбор.

Мальчик смотрел на него, не отрываясь.

И тогда он разрыдался.

Впервые за пять лет — в голос, безудержно, навзрыд, как плачут дети, когда боль становится невыносимой, когда силы кончаются, когда маска, которую они носили так долго, трескается и падает. Он уткнулся лицом в широкую грудь императора — в мягкую шерсть его халата, в тепло его тела, в запах древней магии и старой кожи, — и плакал, плакал, не в силах остановиться.

— Тише, маленький, — бормотал Дарад, глядя его по золотым, спутанным волосам, по худой спине, по острым лопаткам, которые выступали под кожей, как крылья. — Всё хорошо. Ты теперь дома. И никто тебя больше не тронет. Никогда. Обещаю.

Вальтера стояла у двери, прижав кулак ко рту, и плакала — беззвучно, потому что не хотела, чтобы мальчик видел её слёзы. Котора отвернулась к окну, и её плечи вздрагивали — впервые за шестьсот лет она позволяла себе слабость.

А мальчик плакал и никак не мог остановиться.

Ритуал крови. Та же ночь.

Церемонию признания Дарад провёл в ту же ночь, когда слёзы мальчика наконец иссякли, и он затих на его груди, как птенец, который нашёл убежище.

Древний, полузабытый ритуал, известный лишь высшим драконьим родам и передававшийся из уст в уста на протяжении тысячелетий. Он требовал крови — всего несколько капель, всего маленькую ранку на пальце, — и общей воли стать друг другу родными не по рождению, а по духу. Не по крови — по выбору.

Вальтера принесла серебряную чашу — древнюю, покрытую рунами, которые слабо светились в темноте, как далёкие звёзды. Чашу эту использовали только для важнейших церемоний — коронаций, бракосочетаний, посвящений. Она помнила прикосновения императоров, умерших тысячу лет назад, и хранила тепло их рук.

Дарад взял Золотого за сломанную руку — осторожно, боясь причинить боль, — и накрыл её своей ладонью. Его ладонь была большой, тёплой, с мозолями от меча, с шрамами от старых ран. И в этом прикосновении было столько нежности, сколько не чувствовал ни один из его кровных детей.

— Закрой глаза, — попросил он.

Мальчик послушно закрыл — длинные золотистые ресницы дрогнули и замерли.

Искра пробежала от сердца императора по его руке, по пальцам, по кончикам ногтей. И через прикосновение — в сломанную руку ребёнка. Золото вспыхнуло под тонкой кожей мальчика — там, где спала драконья искра, она проснулась, потянулась, откликнулась.

Его собственная драконья кровь — та самая, которую он унаследовал от Аталар, которую ненавидел и боялся, — откликнулась с жадной благодарностью, как иссохшая земля впитывает первый дождь.

А потом Дарад сделал то, что не делал никогда.

Он отдал часть себя. Не силу — силу он и так отдавал каждым своим действием, каждым решением, каждым вздохом. Не магию — магия была его сутью, его дыханием, его жизнью.

Часть души — маленькую, крошечную искру, которую никто не заметил бы, если бы не знал, куда смотреть.

Маленькая капля его крови перетекла в вены ребёнка.

Не для того, чтобы связать его клятвой — клятвы не нужны тому, кто сам выбрал. Не для того, чтобы подчинить его воле — воля не подчиняется принуждению. А чтобы прошептать слова, которые невозможно произнести вслух, но можно передать через кровь: «Ты не один. Мы — семья. И семья не бросает своих».

Мальчик открыл глаза.

В его чёрных глазах — в той самой бездне, где клубилась Тьма, — теперь плясали маленькие золотые искры. Как звёзды в ночном небе. Как светлячки в летнем лесу. Как надежда после долгой зимы.

— Что вы сделали со мной? — прошептал он, и его голос — тихий, надтреснутый — звучал иначе. В нём появилась глубина, которой не было раньше.

— Ритуал крови, — ответил Дарад. — Древний обычай драконов. Отныне ты — мой истинный сын. Не по рождению, но по доброй воле. По выбору. По духу.

— Но моя мать... — Голос мальчика дрогнул, и в его глазах — чёрных, бездонных — промелькнула тень. Не страха — сомнения.

— Твоя мать была несчастной женщиной, которую гордыня и жажда власти свели с ума, — тихо сказал Дарад, и в его голосе не было ненависти — только печаль. — Она хотела того, что не принадлежало ей, и потеряла то, что имела. Но ты — это не она. Ты — это только ты. И только ты решаешь, кем стать.

Золотой смотрел на него долго, очень долго.

В его глазах стояли слёзы — не те, что от боли, а те, что от облегчения. Но в этот раз он не заплакал. Только сжал губы, сглотнул комок в горле, и спросил:

— А можно мне теперь... имя? Настоящее? Не «эй, ты», не «выродок», не «отродье Тьмы». А моё?

Дарад улыбнулся.

— Конечно. Какое ты хочешь?

Мальчик задумался.

— Я не знаю, — признался он, и в его голосе прозвучала такая детская беспомощность, что у Кторы, стоявшей в углу, защемило в носу. — Меня никто и никогда не спрашивал. Я был просто «эй, ты». Или «выродок». Или «отродье Тьмы».

— Тогда не будем торопиться, — решил Дарад. — Имя — это не просто слово. Это судьба. Мы должны выбрать такое, которое тебе подходит. Которое будет твоим.

— Сегодня ты будешь просто... — начал было Дарад, но запнулся, не зная, как назвать этого странного, золотого, сломленного ребёнка.

— Золотой, — подсказала Ктора из своего угла, и в её голосе прозвучала та особенная, редкая мягкость, которую она позволяла себе только с детьми. — Мы его пока так зовём. Пока не придумаем лучше.

— Золотой, — кивнул Дарад, пробуя имя на вкус. — Хорошее, доброе имя. Временное. А настоящее, постоянное, мы придумаем позже. Вместе. Ты, я, Вальтера, Ктора, Шарит — вся семья.

Мальчик кивнул.

Потом, не говоря ни слова, вдруг шагнул вперёд и обхватил Дарада за шею.

Крепко, по-настоящему, как может обнимать только ребёнок, который впервые в жизни чувствует себя в безопасности. Его маленькие, худые руки сомкнулись на шее императора — слабо, но цепко, как будто он боялся, что этот миг исчезнет, если он ослабит хватку.

Дарад замер. Потом, осторожно, как самую драгоценную ношу, обнял его в ответ.

Вальтера смотрела на эту картину и чувствовала, как тает последний лёд в её груди. Тот самый лёд, который сковал её сердце тысячу лет назад, когда она стала тем, кем стала. Тот самый лёд, который не могли растопить ни битвы, ни власть, ни даже любовь к детям.

— Я старая дура, — выдохнула она, и в её голосе не было горечи — только облегчение.

— Старая — это да, — усмехнулась Ктора, и в её усмешке не было насмешки — только тепло. — Но дура ли? Просто оступилась. Просто испугалась. Просто сделала неверный выбор. А теперь исправляешь. Это не глупость — это мудрость.

Вальтера фыркнула, но улыбнулась в ответ. Впервые за эту долгую ночь.

За окнами занимался новый день — бледный, зимний, холодный. А в тёплой комнате у почти догоревшего камина император Дарад держал на руках золотого мальчика без имени и впервые за много лет думал о том, что жизнь преподносит ему не только испытания, но и удивительные дары. Дары, которые не купить за золото, не отнять силой, не заслужить подвигами.

Дары, которые даются только тем, кто умеет любить.

Глава 6: Невеста Запада

Императорский дворец. Покои Иглир. Три дня спустя.

Вода в огромном, выложенном перламутровой плиткой бассейне плескалась сердито, переливаясь через край и орошая мозаичный пол мелкими, сверкающими брызгами. Каждая капля, падая на камень, издавала тихий, музыкальный звук — словно тысячи крошечных колокольчиков звенели в унисон. Вода была не простой — её привезли из самого сердца Южного океана, из тех глубин, куда не проникает солнечный свет, и она хранила память о подводных течениях, о коралловых рифах, о стаях серебряных рыб, которые кружились в её толще, как живые звёзды.

Ильнара, младшая дочь императора Дарада и его четвёртой жены — русалки Иглир, — металась по своим покоем так, будто за ней гналась стая голодных акул. Её босые ступни скользили по влажному перламутровому полу, оставляя за собой мокрые следы, которые тут же высыхали, впитываясь в камень, словно сам дворец пил её отчаяние.

Только вместо её прекрасного рыбьего хвоста, по которому она так тосковала, — по его гибкости, по его силе, по его способности рассекать воду быстрее любой рыбы, — у неё сейчас были вполне человеческие ноги: стройные, длинные, бледные, с тонкими щиколотками и мелкими, почти незаметными чешуйками на пятках — единственное напоминание о её истинной природе. На них были надеты расшитые мелким речным жемчугом мягкие туфельки из кожи морского ската — подарок матери на совершеннолетие, — которыми она яростно колотила по резному дубовому изголовью своей широкой кровати.

Кровать была огромной — такой, что на ней могли спать шесть человек, не касаясь друг друга. Её балдахин из синего шёлка, расшитого серебряными рыбами и морскими звёздами, напоминал океанское небо в ясную ночь, а подушки, набитые пухом морских птиц, были мягкими, как облака. Но сейчас Ильнара не замечала ни красоты, ни удобства — только ярость, которая колотила в её груди, как лава в кратере вулкана.

— Матушка! — голос её срывался на отчаянный, почти истерический визг, отражаясь от влажных перламутровых стен и возвращаясь к ней искажённым, чужим эхом. — Ты слышишь меня вообще? Почему из всех твоих дочерей именно я должна идти под венец по дурацкому политическому договору?!

Иглир, четвёртая жена императора, женщина, которую во дворце видели редко, а слышали ещё реже — она предпочитала тишину шумным приёмам, а глубину океана — балным залам, — сидела в любимом кресле у окна. Кресло было выточено из цельного куска белого коралла, изъеденного временем и морскими червями, и покрыто мягкой подушкой из водорослевого шёлка, который переливался всеми оттенками зелёного — от нежного, весеннего до глубокого, предгрозового.

Её спина была идеально прямой — такой прямой, что, казалось, в ней не было ни единого изгиба, ни единой слабости. Длинные, серебристо-зелёные, пахнущие морем волосы струились по плечам, свободно ниспадая почти до самого пола, и в них, в этих волосах, запутались крошечные перламутровые ракушки — живые, они медленно открывали и закрывали свои створки, дыша в такт её дыханию.

На её прекрасном, бледном, с лёгким зеленоватым отливом лице — лице женщины, которая видела закат тысячелетий и помнила времена, когда русалки ещё не знали людей, — не дрогнул ни единый мускул. Только длинные, тонкие пальцы, перебиравшие нити крупного чёрного жемчуга на шее — жемчуга, добытого в самых глубоких впадинах океана, куда не ступала нога смертного, — чуть заметно побелели от напряжения.

— Потому что ты старшая из незамужних, — ответила она ровно, и в её голосе — текущем, как морская вода, — не было ни гнева, ни раздражения, только констатация факта. —

Таков закон. Таков обычай. Так заведено нашими предками, и никто не смеет перечить традиции.

Ильнара замерла на кровати, приподнявшись на локтях. Её длинные, серебристо-зелёные, влажные волосы разметались по вышитым шёлком подушкам, как водоросли, выброшенные штормом на берег. Глаза её, цвета морской волны, горели праведным гневом — тем самым, который заставляет русалок вскипать и бросаться на врага, не думая о последствиях.

— Старшая? — переспросила она с искренним недоверием, и в её голосе прозвучала обида. — Матушка, у меня есть старшие сёстры! Ктора, например! Она старше меня на шестьсот лет! И она не замужем!

— Ктора — вампир, — невозмутимо ответила Иглир, и в её голосе прозвучала та особая, материнская нотка, которую она использовала только тогда, когда речь заходила о её приёмных детях. — И не просто вампир, а командующая Северным Легионом. Она нужна здесь. Ты же знаешь, что северные границы никогда не были спокойными, а после последней войны стали ещё опаснее. И кроме того... — она помедлила, подбирая слова, и её пальцы на мгновение замерли на жемчуге, — у неё есть дочь. Ты знаешь, что она ни за что не покинет своего ребёнка. Даже ради Империи. Даже ради долга.

Ильнара в изумлении открыла рот и тут же, не найдя достойного аргумента, снова его закрыла. О дочери Кторы знали во дворце лишь единицы — глубокая тайна, которую хранили с завидным упорством, боясь, что враги Империи используют эту слабость против неё. Девочку, Лилию, воспитывали вдали от посторонних глаз, и лишь самые доверенные лица знали о её существовании.

— А Элирия? — не сдавалась Ильнара, и в её голосе прозвучало отчаяние утопающего, который хватается за соломинку. — Дочь Светлого Руциуса и королевы Сильваны? Она ненамного младше меня!

— Элирия — фея, — Иглир поморщилась, и на её бледном лице появилось выражение, которое трудно было прочесть — смесь уважения и сожаления. — Её место — в Лесу Предков, среди её народа. Без неё её мать не справится — Тьма оставила глубокие раны в душе Сильваны, и только дочь помогает ей исцеляться.

— А младшие? — Ильнара уже не надеялась на победу, но продолжала спорить по инерции, потому что не могла сдаться без боя. — Чада Шарита и Ириски? Их уже четверо, и все — отличные партии для любого королевства!

— Им нет и пяти лет, Ильнара, — устало произнесла Иглир, и в её голосе прозвучала та особая, материнская усталость, которая бывает только у тех, кто слишком долго воспитывает детей. — Годовалые младенцы не спасают династические браки. Им ещё в куклы играть, а не политические альянсы заключать.

Ильнара с глухим стоном зарылась лицом в подушку, и её плечи вздрогнули — то ли от смеха, то ли от слёз, то ли от того и другого вместе. Подушка была мягкой, пахла лавандой и морем, и в её глубине, в пухе, хранились детские воспоминания — о том, как мать укачивала её, когда она была маленькой, и пела колыбельные на языке русалок.

Иглир смотрела на неё и чувствовала, как внутри поднимается знакомая волна — смесь тяжелой вины и холодной решимости. Вины перед дочерью, которую она вынуждена отдать в чужую семью, ради политической выгоды. Решимости — потому что выбора не было, и она, как правительница, не имела права поддаваться эмоциям.

— Ильнара, — позвала она тихо, и её голос — текучий, как морская вода — стал мягче. — Посмотри на меня.

Русалка не шелохнулась. Только её пальцы, сжимающие край подушки, побелели от напряжения.

— Посмотри на меня, — повторила Иглир твёрже, и в её голосе появились нотки приказа — те самые, которые заставляли русалок в её подводном царстве подчиняться без вопросов.

Ильнара подняла голову. Её глаза покраснели — не от слёз, от бессонницы и отчаяния. Под глазами залегли тёмные круги, а губы были сжаты в тонкую линию — так сжимают губы перед казнью, когда знают, что спасения нет.

— Я знаю, что это ужасно несправедливо, — начала Иглир, и в её голосе прозвучала та особая, исповедальная интонация, которую она использовала только с дочерьми. — Я знаю, что ты ещё так молода — тебе всего двадцать один год, ты даже не видела настоящего моря, только эти дворцовые бассейны. Я знаю, что ты мечтала о любви — о той, о которой поют барды, о той, от которой замирает сердце. Меня, как и тебя, никто не спрашивал, когда выдавали замуж за твоего отца. Я тогда была даже младше тебя — только-только научилась принимать человеческий облик.

Ильнара всхлипнула, и в этом всхлипе было столько боли, сколько может вместить только юное сердце, столкнувшееся с несправедливостью мира.

— Но ты же... ты ведь сейчас любишь папу? — спросила она, и в её голосе прозвучала надежда — та самая, которая теплится в каждом человеке, который боится, что его судьба будет несчастной.

— Сейчас — да, — честно ответила Иглир, и её голос стал тише, почти шёпотом. — Очень сильно. Больше, чем могу выразить словами. Больше, чем могу показать. Он — моя скала, моя гавань, моё тихое пристанище в бурном море политики и интриг.

Она помолчала, собираясь с мыслями. В комнате было тихо — только вода плескалась в бассейне, да за окном выл ветер, да где-то далеко, в другой части дворца, смеялись дети.

— Но тогда, в самом начале... — Иглир закрыла глаза, и в её памяти всплыли те далёкие дни — дни, когда она впервые ступила на сушу, когда её ноги, привыкшие к воде, не слушались, когда она ненавидела каждый миг своей новой жизни. — Я его ненавидела. Я думала, что сойду с ума от тоски по морю, по дому, по свободе. Я проклинала его, свою мать, всех богов, которые допустили этот союз.

Она поднялась и плавно подошла к дочери — её движения были такими же грациозными, как у морской волны, которая накатывает на берег и отступает, оставляя после себя только пену и память. Села рядом, на самый краешек кровати, взяла её холодную влажную ладонь в свои.

— Но потом... постепенно я поняла, что он не чудовище, — продолжила Иглир, и в её голосе появились тёплые нотки — как солнечный свет, проникающий сквозь толщу воды. — Мы оба, медленно, шаг за шагом, научились быть вместе. Понимать друг друга. Доверять. Сначала просто терпели, потом привыкли, потом стали дорожить, а со временем... со временем полюбили. Не с первого взгляда — с тысячного. Не как в сказках — как в жизни.

Она помолчала, и в её глазах засверкали слёзы — не те, что от боли, а те, что от воспоминаний.

— Западные земли — это не ссылка, Ильнара, — сказала она, и её голос стал тише, почти шёпотом. — Это огромные земли, простирающиеся до самого Великого Океана — до того самого океана, который соединяет все моря мира. Там есть море. Настоящее, бескрайнее, солёное море, с приливами и отливами, со штормами и штилями, с глубинами, которых не достигал свет солнца. Ты сможешь плавать там сколько захочешь — не в этих тесных бассейнах, а в бескрайней синеве. Нырять в глубину, туда, куда не проникает свет. Разговаривать с рыбами, с китами, с древними чудовищами, которые спят на дне и видят сны о временах, когда континенты были едины.

— Но я даже не знаю его! — простонала Ильнара, и в её голосе прозвучало отчаяние, смешанное со страхом. — Я даже имени его не слышала! Что, если он жестокий? Что, если он старый? Что, если он... он... не любит море?

— Его зовут Кайто, — спокойно сказала Иглир, и в её голосе прозвучала та особая, уверенная интонация, которая появляется, когда говоришь о том, что знаешь наверняка. — Ему двадцать пять лет — всего на четыре года старше тебя. Он из древнего рода Водных Драконов,

тех, кто хранит Жемчужину Глубин. Он прибудет в столицу через месяц, на свадьбу Елисии и Руциуса.

— Ты познакомьтесь. — Иглир сжала руку дочери — крепко, ободряюще, как сжимают руку перед прыжком в неизвестность. — И если вы не понравитесь друг другу — если между вами не возникнет искры, если вы не найдёте общего языка, — договор будет расторгнут. Я сама потребую этого. Никто тебя не отдаст замуж насильно.

Ильнара наконец перестала метаться. Её тело расслабилось — мышцы, которые были напряжены до предела, обмякли, и она упала на подушки, как подкошенная. В её глазах зажглась робкая надежда — такая хрупкая, что Иглир боялась дышать, чтобы не разбить её.

— Правда? — спросила она, и в её голосе прозвучало столько детской веры, что у Иглир сжалось сердце. — Мне действительно разрешат сказать «нет»? Я могу отказаться?

— Честное слово русалки, — торжественно произнесла Иглир, и её голос стал глубже — так она клялась на советах старейшин, когда речь шла о жизни и смерти. — Но сначала дай ему шанс. Познакомься. Поговори. Узнай, кто он такой, прежде чем принимать решение.

Ильнара шмыгнула носом — по-детски, незащитно. Помолчала, переваривая услышанное. Затем, словно вспомнив о чём-то важном, спросила, меняя тему — так меняют разговор, когда боятся, что пауза затянется и слёзы вернутся:

— А этот... золотой мальчик? О котором все шепчутся? Я слышала, слуги говорят, что он... странный. Что у него чёрные глаза без зрачков. Что он сын Аталар. Правда?

Иглир вздохнула и возвела глаза к потолку, где на перламутровых плитах танцевали отражения воды.

— Да, — сказала она, и в её голосе прозвучала печаль. — Но он — всего лишь маленький, больной, смертельно напуганный ребёнок. Пять лет ада оставили на его душе шрамы, которые, возможно, никогда не заживут. И он не виноват в грехах своей матери. Никто не выбирает, где родиться.

— Его мать хотела убить папу? — Ильнара нахмурилась, и её брови — тонкие, изогнутые, как крылья чайки — сошлись на переносице. — Хотела уничтожить всю нашу семью? И что же с ним теперь сделают? Сошлют? Заточат в темницу? Казнят?

— Твой отец уже признал его. Провёл древний ритуал крови, тот самый, что связывает драконьи роды. Отныне формально он — его сын, а значит — твой новый брат.

Ильнара уставилась на мать широко раскрытыми глазами, в которых отражались и удивление, и недоверие, и странное, щемящее любопытство.

— Как его хоть зовут-то? — спросила она, и в её голосе прозвучала та детская непосредственность, которая иногда прорывалась сквозь взрослые маски.

— Пока — никак. — Иглир покачала головой, и её волосы — серебристо-зелёные, пахнущие морем — скользнули по плечам, как водоросли по течению. — Все зовут его просто — Золотой. Он сам ещё не выбрал имя. Не готов. Слишком много боли, слишком много страха.

Ильнара задумалась. Её лицо, ещё минуту назад искажённое гневом и обидой, стало задумчивым, почти взрослым.

— Бедный мальчик, — сказала она, и в её голосе прозвучало искреннее сочувствие. — Это ужасно — жить без имени. Даже хуже, чем без жениха. Без имени ты — никто. Даже не тень. Даже не призрак.

— Сходи к нему, — мягко предложила Иглир, и в её голосе прозвучала материнская просьба — не приказ, а именно просьба, та, которую нельзя отклонить, не обидев. — Познакомься. Ему сейчас нужны добрые лица. Лица, которые не будут на него кричать, не будут его бить, не будут называть вырождением.

— А если он страшный? — с детской непосредственностью спросила Ильнара, и в её голосе прозвучал страх — не перед монстром, а перед неизвестностью.

— Он золотой, Ильнара, — тихо сказала Иглир, и в её голосе прозвучала мудрость, накопленная за тысячелетия. — Разве золото может быть страшным? Оно может быть грязным, потускневшим, покрытым пылью. Но под этой грязью всегда остаётся золото.

Ильнара фыркнула, но с кровати всё же поднялась. Поправила волосы — провела рукой по влажным прядям, отбрасывая их за спину, — одёрнула платье — лёгкое, перламутровое, струящееся, как морская пена.

— Ладно, — сдалась она с тяжёлым вздохом, и в этом вздохе было столько обречённости, сколько бывает у человека, который соглашается на неизбежное. — Схожу, посмотрю на твоего золотого мальчика. — Она помолчала, и её глаза хитро блеснули. — Но это не значит, что я простила тебе жениха!

— Я и не надеюсь на скорое прощение, — с притворной печалью ответила Иглир, и в её голосе прозвучала усмешка. — Я знаю, что ты будешь дуться на меня ещё неделю. Может быть, две. Может быть, месяц. Но потом, когда ты увидишь, какой Кайто добрый и заботливый, ты меня ещё поблагодаришь.

Когда дверь за непокорной дочерью закрылась, Иглир осталась сидеть на кровати, глядя на заходящее солнце. Оно опускалось за горизонт, окрашивая небо в багровые и золотые тона — такие же, как чешуя драконов, как кровь, пролитая в битвах, как надежда, которая не умирает, даже когда кажется, что всё потеряно.

Прости меня, маленькая, — прошептала она в пустоту, и её голос растворился в шуме воды. — Если бы был другой способ... если бы я могла выбрать другую судьбу для тебя... я бы выбрала. Но у нас нет выбора. Только долг.

Но другого способа не существовало.

Два часа спустя. Северное крыло дворца. Покои Кторы.

Ильнара влетела в комнату сестры без стука — она вообще редко утруждала себя соблюдением скучных сухопутных церемоний, считая их пустой тратой времени. Для неё, выросшей среди русалок, где приветствия были короткими, а объятия — искренними, эти бесконечные поклоны и реверансы казались насмешкой над здравым смыслом.

Ктора, загоравшая в кресле у камина с книгой в руках — древним фолиантом по военной тактике, который она перечитывала уже в сотый раз, — даже не подняла головы. Только бровь насмешливо приподняла — одну, левую, и это движение было красноречивее любых слов.

— Чего тебе, мелкая? Заблудилась по дороге в свои русалочьи покои? — спросила она, и в её голосе прозвучала ленивая насмешка. — Или забыла, как закрываются двери?

— Я не мелкая! — немедленно возмутилась Ильнара, и её голос звенел от обиды. — Мне, между прочим, уже двадцать один год! Я совершеннолетняя! Я имею право голоса на Совете! Я команду собственным флотом!

— Для меня ты всегда будешь мелкой, скулящей пиявкой, которая вечно лезла ко мне под бока, — усмехнулась Ктора, и в её усмешке не было злобы — только тепло. — Что случилось? У тебя на лице всё написано — от и до. Красные пятна на щеках — гнев. Блеск в глазах — любопытство. Поджатые губы — обида. Рассказывай.

Ильнара, вместо ответа, тяжело вздохнула — так тяжело, что, казалось, её лёгкие освободились от многолетнего груза, — и подошла к камину, где на мягком пушистом ковре, повернувшись ко всем спиной, сидел маленький золотой мальчик и сосредоточенно рисовал.

Она замерла на пороге, разглядывая его.

Ковёр был старым — его соткали ещё при её прабабке, из шерсти северных яков, и он хранил тепло многих зим. На нём, в ворсе, запутались крошки, нитки, маленькие игрушки — следы детских игр, которые делали это место живым, настоящим.

Мальчик сидел, скрестив ноги, и его тонкие, золотые пальцы сжимали уголёк — обычный, обожжённый на конце прутик, который ему дала Лилия, потому что краски были слишком яркими, слишком резкими для его глаз, привыкших к темноте. Он рисовал на грубом,

сером листе бумаги, и его движения были медленными, осторожными — как у человека, который боится, что каждое прикосновение может быть последним.

— Здравствуй, — поздоровалась она неуверенно, и её голос — обычно звонкий, как колокольчик, — сейчас прозвучал тихо, почти шёпотом.

Мальчик вздрогнул, словно от удара током.

Резко обернулся, и его чёрные глаза — бездонные, пустые — уставились на неё с откровенным, животным ужасом. В этом взгляде не было любопытства — только страх. Только ожидание боли. Только готовность сжаться в комок, спрятаться, исчезнуть.

— Тихо, — спокойно произнесла Ктора, и в её голосе прозвучала та особая, командирская нотка, которая заставляла подчиняться даже самых буйных солдат. — Не шуми. Это моя младшая сестра, Ильнара. Из воды. Не кусается — только если её сильно разозлить.

Мальчик перевёл взгляд на Ктору, потом снова на Ильнару. Напряжение в его плечах начало понемногу спадать — мышцы, сжатые в тугой комок, расслабились, и он опустил руки, которые до этого держал на уровне груди, готовясь защищаться.

— Я... я пришла просто познакомиться, — выдавила из себя Ильнара, чувствуя, как её собственные щёки заливаются краской — от стыда, от неловкости, от того, что она, взрослая женщина, боится маленького, худого ребёнка. — Матушка мне рассказала, что ты теперь живёшь здесь. И что ты... — она запнулась, не зная, как продолжить.

— Золотой, да? — Она шагнула ближе — осторожно, как подходят к раненому зверю. — Красивое имя. Как утреннее солнце. Как первый луч после долгой ночи.

Мальчик молча кивнул. Его глаза — чёрные, бездонные — по-прежнему были полны страха, но в них появилось что-то ещё. Любопытство. Вопрос: «Кто ты? Зачем ты здесь? Почему не бьёшь?»

Ильнара, решив не отступать — она никогда не отступала, даже когда проигрывала, — смело опустилась на корточки рядом с ним на ковёр, не обращая внимания на дорогое платье, которое тут же покрылось ворсом. Она вдыхала его запах — странный, незнакомый, пахнущий древней магией и чем-то сладковатым, — и чувствовала, как сердце её колотится где-то в горле.

Она решила действовать через искусство — самый безопасный, самый мягкий способ пробить стену недоверия.

— А что это ты такое красивое рисуешь? — спросила она, и её голос был мягким, как шёлк. — Можно посмотреть?

Мальчик помедлил. Его пальцы — тонкие, золотые, с обломанными ногтями — сжали уголёк так сильно, что тот треснул, рассыпавшись чёрной пылью на пальцах.

Потом медленно, нехотя, повернул к ней дощечку.

Там был нарисован огонь. Не просто пламя — не те жалкие язычки, которые рисуют дети, когда изображают костёр. Настоящий, живой, первобытный Огонь — с огромными, рвущимися вверх языками, которые, казалось, шевелились на бумаге, с летящими во все стороны искрами, с чёрным, обугленным деревом в основании. Огонь, который помнил сотворение мира. Огонь, который был здесь ещё до того, как появились первые драконы.

И рядом с этим огнём — маленькая, хрупкая, золотая фигурка человека.

Он тянул к огню свои тонкие руки — не копаясь в горящих углях, как делают безумцы, а именно тянулся, как к источнику тепла, как к единственному, что согревало его в бесконечной, холодной тьме.

— Красиво, — искренне сказала Ильнара, и в её голосе прозвучало удивление. — Очень живо. Как будто он настоящий. Как будто я чувствую жар.

— Там, в горах, всегда было ужасно холодно, — тихо ответил мальчик, и его голос был тихим, надтреснутым, как у старого, больного человека. — Камень ледяной... стены ледяные... пол ледяной... даже дышать больно — воздух замерзал в лёгких. А здесь, у этого огня, так тепло. Я никогда не знал, что тепло может быть таким... добрым.

— Здесь всегда тепло, — мягко улыбнулась Ильнара, протягивая руку и касаясь его плеча. Её пальцы — тёплые, живые — накрыли его худое, костлявое плечо, и она почувствовала, как под её рукой тело мальчика вздрогнуло — не от страха, от неожиданности.

Она хотела отдернуть руку — испугалась, что сделала что-то не то, нарушила какую-то невидимую границу, — но мальчик не отшатнулся. Наоборот, словно пригревшийся котёнок, сам чуть придвинулся к её теплу, к её руке, к её присутствию.

— Я не знаю, что такое «всегда», — честно признался он, и в его голосе прозвучала детская мудрость, выстраданная годами боли. — Я никогда не видел «всегда». Только «сейчас». Только «сегодня». Только «пока не убьют». Но мне здесь... нравится. Здесь не бьют. Здесь не называют выродком. Здесь дают есть.

Ильнара смотрела на него — на его золотую кожу, которая светила в свете камина, на чёрные глаза, в которых, казалось, отражалась вся вселенная, на худые, дрожащие плечи, которые не знали, что такое быть в безопасности, — и чувствовала, как в груди разливается тепло. Совсем другое, не то, что от камина. Тепло, которое она не могла назвать, но которое знала с детства — когда смотрела на спасённых детёнышей тюленей, которых её мать выхаживала в подводных пещерах.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.